



ДЖОАНН ХАРРИС

ПЯТЬ ЧЕТВЕРТИНОК АПЕЛЬСИНА

Джоанн Харрис

Пять четвертинок апельсина

«ЭКСМО»

2001

Харрис Д.

Пять четвертинок апельсина / Д. Харрис — «Эксмо», 2001

ISBN 978-5-699-57211-3

От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом с кулинарными рецептами – негусто, если учесть, что ее брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре Рен-Клод – винный погреб со всем содержимым. Но весь фокус в том, что на полях альбома, рядом с рецептами разных блюд и травяных снадобий, мать записывала свои мысли и признания относительно некоторых событий ее жизни – словом, вела своеобразный дневник. И в этом дневнике Фрамбуаза пытается найти ответы на мрачные загадки прошлого.

ISBN 978-5-699-57211-3

© Харрис Д., 2001

© Эксмо, 2001

Содержание

Слова благодарности	5
Часть первая	6
1	6
2	10
3	15
4	16
5	19
6	27
7	31
8	33
Часть вторая	35
1	35
2	38
3	40
4	41
5	44
6	48
7	52
8	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Джоанн Харрис

Пять четвертинок апельсина

*Жоржу Пайену,
моему любимому дедуле (aka P'tit Père),
который все это видел собственными глазами*

Слова благодарности

От всего сердца благодарю тех, кто с оружием в руках защищал эту книгу: Кевина и Анушку, прикрывавших меня артиллерийским огнем; моих родителей и брата, постоянно меня поддерживавших и подкармливавших; а также Серафину, Принцессу-воительницу, которая вышла на мою защиту с фланга, и Дженнифер Луитлен, отвечавшую за обеспечение внешних связей. Не менее благодарна я и Говарду Морхайму, победившему пришельцев с Севера, и моему верному издателю Франческе Ливерсидж, а также Джо Голдсуорси, который вывел на поле боя тяжелую артиллерию издательства «Трансуорлд», и моему верному знаменосцу Луизе Пейдж; ну и, разумеется, Кристоферу, за то что всегда был рядом.

Часть первая

Наследство

1

После смерти матери нам досталось наследство: мой брат Кассис получил ферму; моя сестра Рен-Клод – роскошный винный погреб; а я, младшая, – материнский альбом и двухлитровую банку с заключенным в нее черным трюфелем (из Перигё) размером с теннисный мяч, одиноко плававшим в подсолнечном масле; стоило приоткрыть крышку банки, и сразу чувствовался густой аромат влажной земли и лесного перегноя. На мой взгляд, несколько неравноценное распределение богатств, однако в те времена мать была подобна силам природы и раздавала свои дары исключительно в зависимости от собственных прихотей и душевных порывов; во всяком случае, предвидеть или понять, на чем основана странная логика того или иного ее поступка, было совершенно невозможно.

Впрочем, Кассис всегда утверждал, что именно я – ее любимица.

Ну, допустим, пока мать была жива, я этого что-то не замечала. У нее вечно не хватало времени и сил быть к нам хотя бы просто снисходительной, даже если б она и обладала склонностью проявлять к кому-то снисходительность. Но подобной склонности у нее не было и в помине, особенно если учесть, что после гибели мужа она одна тянула на себе все хозяйство, а мы со своими шумными играми, драками и ссорами ей скорее просто мешали; во всяком случае, утешением в тяжелой вдовьей доле мы ей точно не служили. Если мы заболели, она, конечно, за нами ухаживала – заботливо, но как-то неохотно, словно подсчитывая, во что ей обойдется наше выздоровление. И даже нежность к нам она проявляла самым примитивным образом: могла, например, позволить вылизать кастрюльку из-под чего-нибудь вкусного или соскрести с противня пригоревшие остатки самодельной пастилы, а то вдруг с неловкой улыбкой возьмет да сунет тебе горсть земляники, собранной в носовой платочек в зарослях за огородом. Поскольку Кассис остался единственным мужчиной в семье, мать обращалась с ним еще суровее, чем со мной и Ренетт. Сестра была очень хорошенькой, на нее с ранних лет обращались на улице мужчины, и мать, будучи весьма тщеславной, втайне гордилась тем, что ее старшая дочь пользуется таким вниманием. Ну а меня, младшую, она, по всей видимости, считала просто лишним ртом, ведь я не была ни сыном, который впоследствии поведет хозяйство и, возможно, расширит ферму, ни такой красоткой, как Ренетт.

От меня всегда были одни неприятности; я вечно шла с ротой не в ногу, вечно спорила и дерзила, а после гибели отца и вовсе отбилась от рук, стала угрюмой. Я была тощая, с такими же темными, как у матери, волосами, такими же длинными некрасивыми руками и широким ртом; я даже плоскостопием страдала, как она. Должно быть, я здорово на нее походила – стоило ей взглянуть на меня, она каждый раз сурово поджимала губы, а на ее лице появлялось выражение стоической покорности судьбе. Словно, оценив все мои достоинства и понимая, что именно мне, а не Кассису и не Рен-Клод суждено увековечить память о ней, она все-таки явно предпочла бы для этой памяти более пристойный сосуд.

Возможно, поэтому именно мне мать оставила свой альбом, не имевший никакой ценности, если не считать мыслей и озарений, которые маленькими буквами были рассыпаны на полях рядом с кулинарными рецептами – ее собственными и вырезанными из газет и журналов – и составами целебных травяных отваров. Это и дневником-то назвать нельзя, там нет почти никаких дат и никакого порядка в записях. Дополнительные страницы вставлены как попало, а те, что выпали, попросту вшиты мелкими стежками; некоторые странички из папиросной

бумаги, тонкой, как луковая шелуха, другие же, наоборот, чуть ли не из картона, старательно вырезанного ножницами по размеру потрепанного кожного переплета. Всякое заметное событие своей жизни мать отмечала либо очередным кулинарным рецептом собственного изобретения, либо новым вариантом тех блюд, которые издавна известны и любимы всеми. Кулинария была ее тоской по прошлому, ее торжеством, насущной потребностью, а также единственным выходом для творческой энергии. Первая страница в альбоме посвящена гибели моего отца и носит отпечаток какого-то жутковатого юмора: под его весьма нечетким снимком намертво приклеена лента Почетного легиона, а рядом аккуратно, мелким почерком записан рецепт блинчиков из гречневой муки. Ниже красным карандашом выведено: «Не забыть: выкопать иерусалимские артишоки. Ха! Ха! Ха!»

Кое-где мать более словоохотлива, но и там множество сокращений и таинственных упоминаний. Одни события для меня узнаваемы, другие слишком зашифрованы, третьи явно искажены под влиянием момента. Иногда у нее и вовсе все выдуманно, по крайней мере, кажется ложью или чем-то уж слишком невероятным. Во многих местах попадаются кусочки текста, написанного мельчайшим почерком на языке, которого я не в состоянии понять: «Ini tnawini inoti plainexini. Ini canini inton inraebi inti ynani eromni»¹. А порой это просто слово, нацарапанное будто случайно сверху страницы или где-нибудь на полях. Например, слово «качели», старательно выведенное синими чернилами, или оранжевым карандашом: «грушанка, бездельник, пустышка». А еще на одной странице я обнаружила что-то вроде стихотворения, хотя ни разу не видела, чтобы мать открыла хоть какую-нибудь книгу, кроме книги кулинарных рецептов.

Ах, эта сладость,
Во мне скопившаяся!
Она подобна соку яркого плода,
Созревшей сливы, персика или абрикоса.
Возможно, дыни.
Во мне ее так много,
Этой сладости...

Данное проявление ее натуры удивило и встревожило меня. Значит, моя мать, эта твердокаменная женщина, казалось бы совершенно чуждая всякой поэзии, в тайниках своей души порой рождала подобные мысли? Она с такой свирепостью всегда отгораживалась от нас – да и от всех прочих, – что мне неизменно казалась попросту неспособной на нежные чувства и страстные желания.

К примеру, я никогда не видела ее плачущей. Она и улыбалась-то редко, и то лишь на кухне, в окружении набора излюбленных приправ, непременно находившихся у нее под рукой; в такие минуты она то ли разговаривала сама с собой, то ли что-то монотонно напевала себе под нос, точно по списку произнося названия разных трав и специй: «корица, тимьян, перечная мята, кориандр, шафран, базилик, любисток»; иной раз это перечисление прерывалось замечанием вроде: «Надо черепицу на крыше проверить» или: «Надо, чтобы жар был ровный. Если мало жара, то блины выйдут бледные, если много – масло гореть начнет, дым пойдет, а блины получатся слишком сухие». Позже я поняла: она пыталась меня учить. Впрочем, я слушала ее внимательно, потому что только во время этих уроков на кухне мне удавалось заслужить капельку ее одобрения; ну и потому, конечно, что любая, даже самая беспощадная война время от времени требует передышки и амнистии пленным. Моя мать родом из Бретани, так что

¹ После «расшифровки» английский текст выглядит так: «I want to explain. I can not bear it any more». – «Я хочу объяснить. Я не могу больше это терпеть». (Здесь и далее примечания переводчика.)

рецепты тамошних деревенских кушаний всегда были ее любимыми. Блинчики из гречневой муки мы ели в самых разных видах и с самой разной начинкой, в том числе и в виде блинного пирога, например *galette bretonne*². Эти пироги мы также продавали в Анже, расположенном немного ниже по течению Луары. Там же мы продавали и домашний козий сыр, и домашнюю колбасу, и, конечно, фрукты.

Мать всегда хотела завещать ферму Кассису. Но именно он первым из нас, невольно ее послушавшись, покинул дом и уехал в Париж. Всякая связь с ним оборвалась; разве что раз в год на Рождество приходила поздравительная открытка с его подписью; и когда спустя тридцать шесть лет мать умерла, полуразвалившийся дом на берегу Луары уже ничем не мог заинтересовать Кассиса. Я выкупила у него ферму, истратив на это все свои сбережения, всю свою «вдовью долю», и, кстати, заплатила недешево, но это была честная сделка, брат с радостью ее заключил, понимая, что отцовскую ферму стоило бы сохранить.

Однако теперь все переменялось. Дело в том, что у Кассиса остался сын, который женат на Лоре Дессанж, той самой, что пишет книжки по кулинарии, и у них в Анже свой ресторан под названием «Деликатесы Дессанж». При жизни брата я всего несколько раз видела его сына, и тот совершенно мне не понравился. Темноволосый, вульгарный и уже начинающий заплывать жирком, как и его отец; но физиономия все еще довольно смазливая, и ему об этом прекрасно известно. Он все суетился, все пытался мне угодить, называл меня тетушкой, сам принес мне стул, постарался усадить как можно удобнее, сам приготовил кофе, положил сахар, налил сливок, а потом стал расспрашивать о моем здоровье и всячески мне льстить, так что меня от этих сладких слов и ухаживаний чуть не стошнило. Кассису к тому времени уже перевалило за шестьдесят, сердце у него стало сдавать, и он сильно отекал; впоследствии коронарная недостаточность и свела его могилу. На сына своего он взирал с нескрываемой гордостью, в его глазах читалось: «Ты посмотри, какой чудесный у меня сынок! Какой у тебя прекрасный внимательный племянник!»

Кассис назвал его Янником в честь нашего отца, но мне это любви к племяннику не прибавило. Помнится, мать тоже терпеть не могла всех этих условностей, этого фальшивого, «семейного» сюсюканья. И мне отвратительны бесконечные объятия и слащавые улыбки. Совершенно не понимаю, почему родственная связь должна непременно вызывать в людях взаимную симпатию. Неужели мы должны любить друг друга только потому, что в нашей семье столько лет тщательно хранится одна тайна, связанная с пролитой кровью?

Нет-нет, не думайте, что я забыла об этом деле. Ни на минуту не забывала, хотя другие очень даже старались забыть, Кассис – драя писсуары в сортире одного бара в парижском пригороде, Ренетт – трудясь билетершей в порнокинотеатре на площади Пигаль и, точно бродячая собачонка, стараясь пристать то к одному хозяину, то к другому. Вот чем кончилась ее любовь к помаде и шелковым чулкам. Дома-то она была Королевой урожая, красавицей, другой такой во всей деревне не сыскать. А на Монмартре все женщины выглядят одинаково. Бедная Ренетт!

Я знаю, о чем вы думаете: вам не терпится, чтобы я поскорее продолжила рассказ о своем прошлом. А точнее, поведала ту самую историю, которая всех вас теперь волнует. Верно, это единственная ниточка в моем изрядно запятнанном старом флаге, которую видно достаточно ясно. Вам хочется послушать о Томасе Лейбнице. Хочется выяснить все до конца, разложить по полочкам все наши поступки. Только сделать это ох как непросто. Ведь в моей истории, как и в материнском альбоме, страницы не пронумерованы. Да и начала-то, собственно, нет, а конец выглядит отвратительно, точно неподшитый, обтрепавшийся подол юбки. Но я уже стара – похоже, все здесь слишком быстро стареет, наверно, воздух такой, – и у меня свой собственный взгляд на те события. Так что торопиться не буду, а вам придется во многом разобраться и многое понять. Почему моя мать поступила именно так? Почему мы так долго

² Бретонские лепешки; блинный пирог по-бретонски (*фр.*).

скрывали правду? И почему я решила именно сейчас поведать эту историю людям, совершенно мне незнакомым, которые к тому же уверены, что целую жизнь можно уместить в сжатом виде на двух полосах воскресного приложения, снабдив материал парочкой фотографий и цитатой из Достоевского? Дочитал, страницу перевернул – и дело с концом. Нет. На этот раз они у меня каждое слово запишут. Конечно, я не могу их заставить все напечатать, но, Богом клянусь, они выслушают меня. Это я заставлю их сделать.

2

Меня зовут Фрамбуаза Дартижан. Здесь я и родилась, в этой самой деревне Ле-Лавёз, что на Луаре, километрах в пятнадцати от Анже. В июле мне стукнет шестьдесят пять; за эти годы я высохла, пожелтела, как сушеный абрикос, и насквозь пропеклась солнцем. У меня две дочери: Писташ³ замужем за банкиром из Ренна, а Нуазетт⁴ еще в 89-м перебралась в Канаду и пишет мне два раза в год. Есть у меня и двое внуков, они каждое лето приезжают ко мне на ферму. Хожу я в черном – это траур по мужу, умершему двадцать лет назад. Под фамилией мужа я и вернулась тайком в родную деревню, чтобы выкупить ферму, некогда принадлежавшую моей матери, но давным-давно заброшенную и наполовину уничтоженную пожаром и непогодой. В Ле-Лавёз я известна под именем Франсуазы Симон, *la veuve Simon*⁵, и никому даже в голову не придет связать меня нынешнюю с семейством Дартижан, покинувшим эти края после того ужасного случая. Сама не знаю, почему мне понадобилась родительская ферма. И в эту деревню меня, возможно, потянуло из чистого упрямства. Впрочем, я всегда была упрямой. А Ле-Лавёз – моя родина, здесь мои корни. И годы, прожитые с Эрве, я теперь воспринимаю как пробелы своей биографии, как тихие полосы воды, которые порой встречаются среди штормящего моря – некие мгновения безмятежного ожидания и забытья. Но родную деревню я никогда по-настоящему не забывала. Ни на мгновение. Какая-то часть моей души всегда оставалась там.

Понадобился почти год, чтобы старый дом вновь стал пригодным для жилья; все это время я обитала в южном крыле – там, по крайней мере, хоть крыша сохранилась. Пока рабочие плитку за плиткой меняли черепицу, я работала в саду, вернее, в том, что от него осталось, полола, подрезала ветки, выдирала из земли здоровенные плети хищной омелы, оплетшей стволы. Моя мать страстно любила все фруктовые деревья, кроме апельсиновых; апельсины она на дух не переносила. Она и всех нас в угоду собственной прихоти назвала в честь различных фруктовых лакомств. Кассис⁶ получил имя в честь ее пышного пирога с черной смородиной, я, Фрамбуаза⁷, – в честь ее малиновой наливки, а наша Ренетт, Рен-Клод, – в честь ее знаменитых тартинок со сливовым джемом⁸. Этот джем она варила из слив-венгерок, росших вдоль всей южной стены дома, сочных, как виноград, и с середины лета истекавших соком из-за впивавшихся в них ос. Одно время у нас в саду было больше ста деревьев: яблони, груши, сливы, обычные и венгерки, вишни, айва, я уж не говорю о стройных рядах аккуратно подвязанных кустов малины, о целых полях клубники, о зарослях крыжовника, смородины и коринки; все эти ягоды сушили, консервировали, превращали в конфитюр и наливки, а также в крошечные круглые пирожные из *pâte brisée*⁹ со сладким кремом и миндальной пастой. Мои воспоминания наполнены этими ароматами, этими красками, этими названиями. С фруктовыми деревьями мать обращалась точно с любимыми детьми. Если случались заморозки, она готова была истратить все наше драгоценное топливо, окуривая сад. Каждую весну в землю у корней бочками вносился навоз. Летом, чтобы отпугнуть птиц, мы привязывали к концам веток фигурки из фольги, которые шуршали и трепетали на ветру, а также туго натягивали по всему саду проволоку и развешивали на ней пустые консервные банки, своим дребезжанием

³ Pistache – фисташка (фр.).

⁴ Noisette – лесной орех (фр.).

⁵ Вдова Симон (фр.).

⁶ Cassis (фр.) – черная смородина.

⁷ Framboise (фр.) – малина.

⁸ Reine-claude (слива-венгерка) (фр.).

⁹ Песочное тесто (фр.).

отпугивавшие птиц; еще мы делали «мельнички» из разноцветной бумаги, которые крутились как бешеные. В итоге наш сад весь сверкал и звенел, украшенный как для карнавала, и казалось, будто мы среди лета устроили рождественскую вечеринку.

У каждого материного дерева имелось свое имя. «Прекрасная Ивонна» – так мать с нежностью называла старую кривоватую грушу. «Аквитанская роза, бере короля Генриха, – машинально произносила она, проходя мимо, и голос ее звучал мягко и задумчиво. – Конферанс. Вильямс. Гислен де Пентьевр». И невозможно было понять, то ли она обращается ко мне, идущей рядом, то ли разговаривает сама с собой.

Ах, эта сладость...

Теперь в саду меньше двух десятков стволов. Впрочем, мне самой и этого более чем достаточно. Особой популярностью пользуется моя кисленькая вишневая наливка, а вот название этого сорта вишни я уже не помню, из-за чего чувствую себя немного виноватой. Готовить наливку проще некуда, главное – не вынимать из ягод косточки. Берете широкогорлую банку, кладете в нее слоями ягоды и сахар и каждый слой заливаете чистым спиртом – лучше всего использовать кирш, но можно водку или даже арманьяк, – и так до половины банки. Сверху долейте еще немного спирта и ждите. Каждый месяц надо аккуратно встряхивать банку, чтобы оставшийся сахар окончательно растворился и прошел внутрь. За три года мякоть вишен выцветет добела, и весь красный цвет вберет в себя наливка; покраснеют даже вишневые косточки, даже крошечное ядрышко внутри станет ярко-розовым, и его вкус и аромат пробудят воспоминания о давно минувшей осени. Наливку следует разливать в ликерные рюмки и непременно подавать каждому ложечку для вылавливания вишен. Вишенку следует держать во рту, пока она, пропитанная ликером, не растает на языке. Сперва ее надо прокусить и выпустить изнутри самую вкусноту, а потом долго катать кончиком языка, словно бусину от четок, пытаясь вспомнить, как эта вишенка зрела тем жарким летом, сменившимся не менее жаркой осенью, когда наш колодец совершенно пересох, а в саду завелось немыслимое количество ос; вот так все минувшие дни и годы, утраченные и вновь обретенные, воскресают в памяти благодаря лишь крошечному вишневому ядрышку.

Да знаю я, знаю. Вам не терпится поскорее перейти к сути истории. Но ведь и прочие подробности не менее важны. Таков уж мой способ повествования; и это только мое дело, сколько времени я потрачу на рассказ. Если уж мне понадобилось целых пятьдесят пять лет, чтобы его начать, то теперь дайте мне и закончить его так, как мне самой нравится.

Когда я вернулась в Ле-Лавёз, то была почти уверена: никто не узнает меня. И расхаживала повсюду открыто, даже несколько вызывающе. Я решила: если кто и впрямь меня вспомнит, если разглядит в моем облике черты матери, лучше мне сразу это заметить. Предупрежден – значит, вооружен.

Каждый день я ходила на берег Луары и сидела на плоских камнях, где когда-то мы с Кассисом ловили линей. От нашего Наблюдательного поста остался только пенёк, и я на этом пне немного постояла. Теперь и некоторые из Стоячих камней обвалились, однако на Скале сокровищ все еще виднелись вбитые нами колышки, на которых мы развешивали свои трофеи: гирлянды, ленты, а потом и голову той проклятой Старой щуки, когда ее наконец удалось поймать.

Я посетила табачную лавку Брассо – теперь там хозяйничает его сын, но и старик еще жив, и глаза у него по-прежнему черные, острые, гибельные; потом заглянула в кафе Рафаэля и на почту, которой заведует Жинетт Уриа. Я даже к памятнику павшим воинам сходила. С одной стороны там высечен в камне список из восемнадцати имен наших солдат, убитых во время войны, и над ними надпись: «Они погибли за Родину». Я заметила, что имя моего отца стесано стамеской, теперь между «Дариус Ж.» и «Фенуй Ж.-П.» темнеет лишь грубая бороздка. С другой стороны памятника прикреплена бронзовая табличка с десятью именами, написанными более крупно. Эти имена мне и читать было незачем, я и так знала их наизусть. Но все же

притворилась, будто впервые вижу, поскольку не сомневалась: кто-нибудь непременно возьмется рассказать мне ту трагическую историю. А также, возможно, покажет то самое место у западной стены церкви Святого Бенедикта и пояснит, что здесь каждый год служат особую мессу по погибшим и вслух зачитывают их имена со ступеней мемориала, а потом возлагают к памятнику цветы. Интересно, думала я, удастся ли мне все это выдержать? Вдруг кто-то по выражению моего лица догадается, что тут дело нечисто?

Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колетт Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекоз, Аньес Пети, Франсуа Рамонден, Огюст Трюриан. Еще очень многие помнят этих людей. Многие носят те же фамилии и даже похожи на почивших здесь родственников. Все эти семьи по-прежнему живут в Ле-Лавёз: Уриа, Ланисаны, Рамондены, Дюпре. Почти шестьдесят лет прошло, но они ничего не забыли, и старшее поколение с детства воспитывает в молодых ненависть.

Какой-то интерес ко мне в деревне, разумеется, возник. Точнее, любопытство. Странно, зачем ей понадобился этот дом? Ведь он стоит заброшенный с тех пор, как оттуда убралась эта особа, эта Дартижан. «Деталей, мадам, я, конечно, не помню, но мой отец... и мой дядя...» «Господи, и с чего вдруг вам вздумалось покупать именно эту ферму?» – спрашивали они. Полуразрушенная ферма была для них точно бельмо на глазу, точно грязное пятно на скатерти. Деревьев в саду сохранилось не много, да и те были сильно повреждены омелой и болезнями. Наш старый колодец завалили мусором и камнями и забетонировали. Но я-то помнила, какой ухоженной, какой процветающей, какой полной жизни была некогда наша ферма; сколько там было животных: лошади, козы, куры, кролики. Мне нравилось думать, что те дикие кролики, порой забегавшие в сад со стороны северного поля, – возможно, далекие потомки наших кроликов; и порой я даже замечала белые пятнышки на их бурых шкурках. Отвечая на вопросы особо назойливых, я выдумала целую историю о том, как провела детство на ферме в Бретани, добавляя при этом, что всегда мечтала вернуться на землю, а эту ферму продавали уж больно дешево. Держалась я скромно, словно бы извиняясь за что-то. И все же кое-кто из старожилов посматривал на меня подозрительно; а может, здесь было принято считать, что эта ферма должна навсегда остаться своеобразным памятником.

Носила я по-прежнему все черное и волосы всегда покрывала шарфом или платком. В общем, с самого начала выглядела женщиной уже немолодой. Приняли меня далеко не сразу. Местные жители вели себя со мной вежливо, однако особого расположения не выказывали, а поскольку я и сама общительностью никогда не отличалась – сущая дикарка, как говорила мать, – то сближения не происходило. Церковь я не посещала, хотя прекрасно понимала, какое это производит впечатление. Но заставить себя пойти туда так и не смогла. Возможно, это было проявлением той же самоуверенности или даже презрения к общественному мнению, которое и мою мать заставило в пику всем назвать нас троих не именами святых, а словами, обозначающими фрукты и ягоды. И только открыв свою лавчонку, я наконец почувствовала себя частью здешнего общества.

Да, с этого магазинчика, который я планировала в будущем расширить, все и началось. Через два года по приезду в Ле-Лавёз деньги, оставшиеся после смерти Эрве, практически кончились. Зато в доме теперь вполне можно было жить. А вот до земли руки у меня по-прежнему не доходили; дюжина деревьев, пять-шесть грядок с овощами, две низкорослые козочки да несколько кур и уток – вот и все мое хозяйство. И мне было совершенно ясно: потребуется немало времени, чтобы превратить эти запущенные земли в источник дохода. Тогда я решила печь и продавать пироги, бриоши и коврижки; кое-что я готовила по местным рецептам, а кое-что по бретонским, унаследованным от матери, – например, свернутые в трубочку кружевные блинчики с начинкой, фруктовые тартинки, рассыпчатое песочное печенье, бисквиты, ореховые хлебцы и сухие, хрустящие галеты с корицей. Сперва я продавала свою выпечку через местную булочную, потом стала торговать прямо у себя на ферме, понемногу увеличивая

ассортимент и добавляя к нему другие продукты: яйца, козий сыр, разнообразные домашние наливки и вина. Вырученные деньги позволили мне завести свиней и кроликов; позднее я еще и несколько коз прикупила. Пользуясь старыми рецептами моей матери, я действовала чаще всего по памяти, но время от времени заглядывала и в ее альбом.

Память порой вытворяет такие странные штуки. Судя по всему, в Ле-Лавёз никто и не помнит, как прекрасно готовила моя мать. А кое-кто из старожилов осмелился даже утверждать, что я разительно отличаюсь от прежней хозяйки этой фермы, которая, судя по их рассказам, была сущей неряхой и букой с вечно каменным лицом. И в доме-то у нее воняло черт знает чем, и дети у нее постоянно бегали босыми. Вот и слава богу, заключали они, что ее здесь больше нет. Меня это вранье, конечно, корбило, но я молчала. А что, собственно, я могла возразить? Что моя мать каждый день натирала полы воском? Что она заставляла нас дома надевать войлочные шлепанцы, чтобы не царапать пол? Что в ящиках под окнами у нее всегда было полно цветов? Что и нас, своих детей, она драила с той же яростной беспристрастностью, с какой отскребала ступени крыльца? Что она терла нам лица фланелью столь же неистово, порой чуть ли не до крови, как и свой фарфор?

О ней вообще говорили только плохое. А в одной книжке даже помянули дурным словом. Ну, это не то чтобы книжка – так, брошюрка, всего-то страниц пятьдесят да несколько фотографий; на одном снимке запечатлен памятник павшим воинам, на другом – крупным планом злополучная западная стена церкви Св. Бенедикта. О нас троих там, слава богу, лишь пара фраз, даже имена наши не названы. Зато имеется весьма расплывчатая фотография матери: волосы так сильно зачесаны назад, что глаза кажутся немного раскосыми, как у китайца, губы неодобрительно поджаты. Есть там и фотография нашего отца, сделанная для какого-то документа, точно такая, как в материном альбоме; он в военной форме и выглядит каким-то нелепо молодым, с одного плеча небрежно свисает винтовка, сам улыбается во весь рот. А в конце книжонки я обнаружила снимок, от которого у меня сразу перехватило дыхание, и я стала задыхаться, точно рыба, проглотившая крючок. Четверо молодых мужчин в немецкой форме, трое стоят плечом к плечу, а четвертый, с саксофоном, держится чуть поодаль, и вид у него чрезвычайно самоуверенный. У остальных тоже в руках музыкальные инструменты: труба, барабан, кларнет. И хотя имена их не названы, я сразу узнаю всех четверых. Это военный музыкальный ансамбль деревни Ле-Лавёз, примерно 1942 год. Самого правого, с саксофоном, зовут Томас Лейбниц.

Я была совершенно ошарашена: где это они раскопали столько подробностей? И откуда у них фотография моей матери? Насколько мне было известно, никаких ее фотографий просто не существовало. Даже я когда-то сумела разыскать только одну, на дне ящика комода у нее в спальне; это была старая свадебная фотография: жених и невеста в зимней одежде на крыльце церкви Св. Бенедикта; он в шляпе с широкими полями, у нее волосы распущены и за одним ухом цветок. Хорошенькая, совершенно не похожая на мать, улыбается застенчиво, даже скованно, и смотрит прямо в объектив, а молодой муж покровительственно обнимает ее рукой за плечи. Прекрасно представляя, как рассердится мать, если узнает, что я видела эту фотографию, я тут же убрала ее на прежнее место. Отчего-то меня всю трясло, хотя я и сама не понимала, что на меня так сильно подействовало.

А на том снимке, в книжке, мать куда больше походила на себя – точнее, на ту женщину, которую, как мне казалось, я знала всю жизнь, а на самом деле не знала вовсе. С лицом, словно окаменевшим от сдерживаемого гнева. И лишь обнаружив на форзаце книжки фотографию автора, я наконец поняла, откуда взялась вся эта информация. Ну еще бы, Лора Дессанж, журналистка и знаменитый автор книг по кулинарии! Рыжие волосы коротко подстрижены, на лице профессиональная улыбка. Жена Янника. Невестка Кассиса. Бедный глупый Кассис! Бедный слепой Кассис! Ослепленный гордостью за своего удачливого сына. Выболтал все Лоре, рискуя

тем, что всех нас выведут на чистую воду... и ради чего, собственно? Неужели он и впрямь поверил своим тщеславным фантазиям?

3

Вы должны сразу понять: для нас оккупация была чем-то совсем иным, чем для жителей крупных городов и столицы. Жизнь в Ле-Лавёз и после войны практически не изменилась. Ну что там сейчас есть? Несколько улиц, по большей части не шире обычной проселочной дороги, сходящихся на единственном перекрестке в центре деревни. Церковь, конечно. Памятник павшим воинам на площади Мучеников и возле него маленький скверик, а за ним старый фонтан. Затем – на улице Мартена и Жана-Мари Дюпре – почтовое отделение, мясная лавка Пети, кафе «La Mauvaise Rêputation»¹⁰, табачная лавка-бар, где на стойке выставлены открытки с памятником павшим воинам, а у крыльца – качалка, в которой вечно сидит старый Брассо; напротив цветочный магазин, он же похоронное бюро. В Ле-Лавёз всегда в цене две вещи: еда и смерть. Чуть дальше магазин, которым по-прежнему владеет семейство Трюриан; теперь уже, к счастью, там заправляет их внук, молодой человек, который лишь недавно сюда переехал. И в самом конце улицы – старый, выкрашенный желтой краской почтовый ящик.

Сразу за главной улицей течет Луара, гладкая и коричневая, точно греющаяся на солнце змея, и широкая, как пшеничное поле; ее поверхность изрезана неправильной формы пятнами отмелей и островков, которые проезжающим мимо туристам, направляющимся в Анже, могут показаться столь же надежными и прочными, как дорога под колесами их автомобиля. Однако это совсем не так. Острова постоянно движутся, словно не имея корней. Незаметно подтапливаемые снизу течением бурой воды, они то погружаются в реку, то выныривают на поверхность, точно неторопливые желтые киты, оставляя после себя небольшие водовороты, с виду довольно безвредные, но только если смотреть на них с лодки; на самом деле эти водовороты смертельно опасны для пловца; там подводное течение безжалостно тянет вниз, на дно, не давая человеку снова подняться на поверхность, не давая ему дышать, и самым вульгарным образом его топит. В нашей старой Луаре рыбы по-прежнему много; линь, щука, угорь вырастают порой до гигантских размеров благодаря тому, что кормятся сточными водами и всякой дрянью, приплывающей сюда из верховий. Почти каждый день на реке можно увидеть рыбацьи лодки, но в половине случаев рыболовы свой улов попросту выбрасывают.

В сарайчике у старого причала Поль Уриа торгует наживкой и рыболовными снастями; это, как мы говорили в детстве, в полуплывке от того места, где Кассис, Поль и я обычно ловили рыбу и где Жаннетт Годен укусила водяная змея. У ног Поля лежит старый пес, невероятно похожий на ту коричневую дворняжку, что в былые времена повсюду его сопровождала, а сам Поль неотрывно смотрит на воду, на леску с наживкой, словно надеется что-то поймать.

Интересно, а он-то помнит? Иногда я замечаю, как он смотрит на меня – в моей блинной он самый постоянный посетитель, – и я, пожалуй, почти уверена, что он все помнит отлично. Он постарел, конечно. Как и все мы. Его круглое, лунообразное лицо потемнело, обвисло и приобрело какое-то похоронное выражение, которое усугубляют вислые усы цвета жеваного табака. В зубах у него вечно зажата сигарета. Он редко что-то говорит – впрочем, он никогда общительностью не отличался, – но смотрит на меня всегда очень внимательно, и в глазах у него какая-то собачья преданность и печаль; темно-синий берет, как и прежде, сдвинут на одно ухо. Ему нравятся мои блинчики и мой сидр. Возможно, именно поэтому он так мне ни слова и не сказал. Да он и не любитель устраивать сцены.

¹⁰ «Дурная репутация» (фр.).

4

Блинную я открыла лишь через четыре года после своего возвращения в Ле-Лавёз. К этому времени мне уже и деньжонок удалось поднакопить, и постоянные покупатели у меня появились, да и в деревне меня худо-бедно приняли. А для работы на ферме я наняла парня из Курле, не из местных, к нашим знаменитым семьям он отношения не имеет. Обслуживать клиентов в кафе мне помогает молоденькая Лиз. Сначала я поставила всего пять столиков – здесь ведь самое главное казаться незаметной, хотя бы сперва, и ни у кого не вызывать подозрений своим неожиданным «процветанием», – но вскоре количество столиков пришлось удвоить, а в погожие дни мы с Лиз размещали столики еще и на террасе перед домом. У меня все просто. И меню весьма небогатое: блинчики из гречневой муки с разнообразными начинками плюс одно основное блюдо, правда, каждый день новое, и несколько десертов. Так что с готовкой я вполне сама справляюсь, а Лиз принимает заказы и подает кушанья. Я назвала свое заведение «Crêpe Framboise»¹¹ по своему фирменному блюду – сладким блинчикам с малиновым coulis¹² и домашней наливкой. И я, улыбаясь про себя, думала: интересно, как бы они отреагировали, если б узнали? А ведь кое-кто из постоянных посетителей вскоре даже стал называть мое заведение «Chez Framboise»¹³, и это еще больше меня веселило.

Как раз в то время на меня опять стали поглядывать мужчины. Видите ли, по меркам Ле-Лавёз я была женщиной вполне обеспеченной и еще не старой. В конце концов, мне исполнилось тогда всего пятьдесят. И потом, всем было известно, что я не только хорошо готовлю, но и дом содержу в полном порядке. Вот многие и начали за мной вроде как ухаживать; некоторые и впрямь были люди неплохие, вроде Жильбера Дюпре или Жана-Луи Леласьяна, но попадались и такие лентяи и бездари, как Рамбер Лекоз, который только и мечтает кому-нибудь сесть на шею, чтоб его до конца жизни вкусно и бесплатно кормили. Внимание ко мне проявлял даже Поль, милый Поль Уриа со своими вислыми, выцветшими от никотина усами, наш вечный молчун. Разумеется, сама я ни о чем таком не помышляла. Нет уж, решила я, больше подобной глупости ни за что не совершу. Хотя порой в душе и шевелились горькие сожаления. Но теперь у меня имелось собственное дело, я стала хозяйкой материной фермы; да и воспоминания о прошлом никогда меня не оставляли. А заведи я мужа, и со всем этим пришлось бы проститься. Ведь в таком случае вряд ли мне удалось бы и дальше скрывать, кто я такая на самом деле. И даже если б жители деревни простили мне мое происхождение, то этих пяти лет обмана они бы не простили мне никогда. Так что я всем своим ухажерам отказывала, вела себя осторожно и мудро, и в итоге меня сперва сочли безутешной вдовой, затем неприступной крепостью, а еще через несколько лет – попросту старухой.

Теперь-то я почти десять лет живу в Ле-Лавёз. И в последние годы стала приглашать к себе на лето Писташ с семьей – они уж лет пять, наверно, ко мне ездят. Приятно смотреть, как детишки растут и превращаются из смешных глазастых свертков в настоящих маленьких человечков, похожих на ярко окрашенных птичек, так и снующих по моему саду и лугу на своих невидимых крыльях. Писташ всегда была очень хорошей дочерью. А вот Нуазетт, моя тайная любимица, больше напоминает меня: такая же скрытная, такая же бунтарка, и глаза у нее такие же черные, и душа так же полна жажды свободы и неповиновения. Я могла бы, наверно, остановить ее, не дать ей уехать – возможно, хватило бы одного слова, одной улыбки, – но я ничего не сделала из опасения, что она станет относиться ко мне так же, как я к своей матери. Письма от нее приходят равнодушные, написанные как бы по обязанности. Замужество

¹¹ «Блинчик с малиной» (фр.).

¹² Подливка; здесь сироп (фр.).

¹³ «У Фрамбуазы» (фр.).

ее закончилось плохо. Она работает официанткой в круглосуточном кафе в Монреале. Когда я предлагаю ей деньги, она отказывается. А Писташ... Такой, как Писташ, могла бы стать наша Ренетт: такой же пухленькой, доверчивой и нежной, так же обожающей своих детей и яростно бросающейся на их защиту. У Писташ мягкие каштановые волосы, а глаза зеленоватые, как ядрышко того ореха, в честь которого она и получила свое имя. Благодаря Писташ и ее детям я многому научилась и теперь как бы вновь проживаю с ними самые лучшие, самые счастливые мгновения собственного детства.

Ради своих внуков я снова научилась быть матерью семейства, печь блинчики и толстые «пальчики» с травами и яблочной начинкой. Я варила для них варенье из инжира и из зеленых помидоров, из кислой вишни и из айвы. Я позволяла им играть с маленькими коричневыми проказливыми козочками и угощать их сухариками и кусочками морковки. Мы вместе кормили кур, гладили мягкие лошадиные морды, собирали щавель для кроликов. Я показала им реку, научила доплывать до солнечных отмелей. Скрепя сердце я разрешила им это, предупредив обо всех опасностях – змеях, корнях, водоворотах, омутах, зыбучих песках, – и заставила клятвенно пообещать, что они никогда-никогда не будут одни купаться в таких опасных местах. Я показала им самые лучшие грибные места в лесу, научила отличать настоящую лисичку от ложной и, приподнимая листья черничных кустиков, угощала их вкусными кисленькими ягодами. Именно таким должно было быть детство и у моих дочерей. А вместо этого у них было дикое побережье в северном Арморике – там мы с Эрве жили какое-то время, – пляжи, продуваемые всеми ветрами, сосновые леса и мрачные каменные дома, крытые шифером. Я старалась быть им хорошей матерью, честно старалась, и все же постоянно чувствовала, что в наших отношениях чего-то не хватает. Теперь я понимаю: нам не хватало вот этого самого дома, этой фермы, этих полей и сонной вонючей Луары – в общем, не хватало Ле-Лавёз. Вот чего мне хотелось для своих дочерей. И я начала все сначала – уже со своими внуками. С ними я всегда была снисходительной, как бы оправдывая этой снисходительностью себя прежнюю.

Мне приятно думать, что и моя мать, будь у нее такая возможность, поступала бы так же. Я представляю ее себе этакой безмятежной старушкой, спокойно принимающей любые мои упреки: «Нет, правда же, мам, ты мне совершенно испортишь детей!» А она выслушает меня и, не испытывая ни малейшего раскаяния, весело им подмигнет. Теперь мне все это отнюдь не кажется таким уж невозможным, как казалось когда-то. Или, может, я просто заново ее выдумываю? Может, на самом деле она была именно такой, какой я помню ее: женщиной с каменным лицом, которая никогда не улыбается и следит за мной равнодушными, но какими-то странно голодными глазами?

Внучек своих она никогда не видела; она даже не знала, что они существуют. Эрве я сказала, что мои родители умерли, и он никогда не сомневался в этом. У него самого отец был рыбаком, а мать, маленькая, кругленькая, похожая на куропатку, продавала пойманную им рыбу на рынке. Я завернулась в их доброе ко мне отношение, точно в чье-то чужое теплое одеяло, прекрасно понимая, что однажды так или иначе буду вынуждена вернуться к прежней, холодной жизни без них. Эрве был очень хорошим человеком, спокойным и начисто лишенным тех острых граней, о которые я могла бы порезаться. Я любила его – не как Томаса, не с той иссушающей душу отчаянной страстью, но все-таки достаточно сильно.

Когда в 1975 году он умер – в него попала молния, когда они с отцом отправились ловить угрей, – я сильно горевала, но горе мое было словно приправлено некой неизбежностью, почти облегчением. Да, мы с ним прожили хорошую жизнь, но она закончилась. А моя жизнь – моя собственная жизнь – продолжалась. Я вернулась в Ле-Лавёз через полтора года после смерти Эрве с таким ощущением, будто проснулась после затянувшегося сна без сновидений.

Вам может показаться странным, что я столь долго ждала, прежде чем тщательно познаться с материнским альбомом. Если не считать черного трюфеля (из Перигё), альбом был моим единственным законным наследством, а я целых пять лет туда не заглядывала. Разуме-

ется, многие рецепты я и так знала наизусть, мне вовсе не нужно было в них вчитываться, и все-таки. Я ведь даже не присутствовала при оглашении завещания. Я даже не могу сказать, в какой точно день мать умерла, хотя мне известно, где именно: в Витре, в доме престарелых. От рака желудка. Там ее и похоронили, но сама я на тамошнем кладбище побывала лишь однажды. Нашла могилу матери у самой дальней стены возле мусорных баков. На ней написано: «Мирабель Дартижан» – и указаны даты рождения и смерти. С некоторым удивлением я обнаружила, что мать зачем-то лгала нам насчет своего возраста.

Собственно, я и сама толком не знаю, что меня подвигло на внимательное изучение материнского альбома. Это случилось в мое первое лето в Ле-Лавёз, когда я приехала туда после смерти Эрве. Стояла засуха; вода в Луаре опустилась, наверно, метра на два ниже обычного уровня, обнажив уродливые извивы старого русла и придонные выступы, напоминавшие сточенные пеньки гнилых зубов. Из обмелевших берегов тянулись к воде корни, желтовато-белые, словно выгоревшие на солнце; среди этих корней на песке играли дети, бегая босиком по зловонным коричневым лужам и вылавливая палками плывущий вниз по течению мусор. До того лета я старалась не заглядывать в материн альбом; даже при мысли о нем я чувствовала себя странно виноватой, словно я украдкой за ней подглядываю, а она вот-вот войдет и увидит, что я «опять сую нос» в ее странные тайны. Хотя на самом деле мне вовсе и не хотелось выведывать ее тайны. Какой-то внутренний голос твердил мне, что это нехорошо, что этого делать нельзя, что это не лучше, чем прокрасться ночью в спальню родителей и услышать, как они занимаются любовью. В общем, мне понадобилось более десяти лет, чтобы понять: голос, предостерегающе звучавший у меня в ушах, принадлежал не моей матери, а мне самой.

Как я уже говорила, большую часть ее записей разобрать оказалось практически невозможно. Тот странный язык, очень похожий на итальянский, но только совершенно непригодный, который использовала мать, был мне совершенно незнаком; и после нескольких неудачных попыток расшифровать записи я бросила эту затею как совершенно бессмысленную. Рецепты блюд, впрочем, читались легко, они представляли собой либо вырезки из газет, либо были вполне четко написаны синими или фиолетовыми чернилами; но прочие ее небрежные каракули – стихи, рисунки, какие-то подсчеты, вставленные между рецептами или рядом с ними, – я толком разобрать так и не сумела; даже те записи, которые можно было прочесть, хотя и с трудом, мать делала без малейшего намека на логику и совершенно беспорядочно.

«Видела сегодня Гильерма Рамондена. С новой деревянной ногой. Р.-К. так на эту ногу устала, что он засмеялся. И когда она спросила: "А вам не больно?", ответил, что ему даже повезло: во-первых, его отец, башмачник, все больше деревянные сабо мастерит и хлопот с сыном теперь вполовину меньше, ведь ему только одна "деревяшка" и нужна, ха-ха-ха! Во-вторых, прибавил он, и вполовину меньше опасности, что во время вальса я отдавлю тебе пальцы, моя красавица. А я все думаю: какова его культа изнутри, в подколотой пустой штанине? Она, наверно, напоминает недопеченный пудинг, перевязанный куском бечевки. Пришлось губу прикусить, чтобы не расхохотаться прямо ему в лицо».

Все это написано мелким почерком над рецептом белого пудинга. Мне от подобных «смешных» историй каждый раз становилось не по себе.

А о своих фруктовых деревьях мать упоминает в разных местах и каждый раз так, словно это живые люди: «Всю ночь бодрствовала вместе с Прекрасной Ивонной; она совсем больна, видно, простудилась в эти холода, бедняжка». Зато о нас, своих детях, она говорит редко, обозначая сокращениями: Р.-К., Касс. и Фра, а об отце в ее дневнике и вовсе ни слова. Нигде. Много лет я пыталась понять почему. Хотя тогда я еще не могла прочесть другие, тайные ее записи. В общем, если судить по ее дневнику, мой отец, которого я очень мало знала и плохо о нем помнила, словно и не существовал вовсе.

5

Потом началась эта история со статьей. Сама-то я, если честно, ее не читала; она была опубликована в таком журнале, где еда и ее приготовление преподносятся как модное веяние, как атрибут современного стиля жизни: «В этом году, дорогая, все едят кускус, это просто *de rigueur*¹⁴». Ну а для меня еда – это еда, это чувственное, хотя и мимолетное удовольствие, порой эфемерное, как огни фейерверка, но почти всегда требующее немалых усилий. Впрочем, не следует воспринимать слишком серьезно и эти усилия, и сам процесс поглощения пищи. Господи, это же, в конце концов, не искусство! Съел – и все, проглотил – а с другого конца вышло. Короче, в одном из этих модных журналов появилась статья, называвшаяся то ли «Вниз по Луаре», то ли что-то подобное. Один знаменитый шеф-повар решил, двигаясь по направлению к побережью, посетить большую часть местных ресторанов и сравнить их. Он и ко мне заходил; я хорошо его запомнила: такой тощий, маленький, с собственными солонкой и перечницей в салфетке и с записной книжкой на коленях. Он отведал у меня паэлью по-антильски, салат с теплыми артишоками, затем угостился сахарно-масляным печеньем по материнскому рецепту с шипучим сидром моего приготовления и завершил трапезу рюмочкой малиновой наливки. А потом прямо-таки засыпал меня вопросами; его интересовали не только мои кулинарные рецепты, но и сама моя кухня, а также сад; он был совершенно потрясен, когда я показала ему погреб, где все полки заставлены всякими *terrines*¹⁵, консервированными овощами и фруктами, а также ароматизированными маслами – с грецким орехом, с розмарином, с трюфелями – и бутылочками с разнообразным душистым уксусом, земляничным, лавандовым, яблочным. Он все допытывался, где я училась да где стажировалась; его, судя по всему, почти огорчило, когда в ответ на эти вопросы я только рассмеялась.

Пожалуй, я слишком много ему показала и рассказала. Но видите ли, мне так польстило его внимание. Вот я и принялась предлагать ему: попробуйте то, попробуйте это. Ломтик *rillettes*¹⁶, ломтик *saucisson sec*¹⁷, глоточек моего грушевого ликера – той самой грушевки, которую мать обычно готовила в октябре из падалицы, сбитой ветром и уже начинавшей подгнивать. Эти груши, лежавшие на теплой земле, бывали настолько облеплены коричневыми осами, что приходилось пользоваться специальными деревянными щипцами, чтобы их подобрать. Я показала ему даже тот трюфель, который мать оставила мне в наследство; по-прежнему бережно мною хранимый, он плавал в масле и напоминал муху, застрявшую в куске янтаря. Гость изумленно уставился на трюфель, и я не смогла сдержать улыбку.

– Вы хоть представляете, сколько это может стоить? – спросил он.

Да уж, тщеславию моему он, безусловно, польстил. А может, я просто чувствовала себя тогда немного одинокой, вот и рада была поговорить с человеком, который так хорошо меня понимал. Который смог, например, перечислить травы, положенные в *terrine*, попробовав всего лишь кусочек; который сказал, что я слишком хорошо готовлю, чтобы прозябать в подобной дыре, что это просто преступление – зарывать в землю такой талант. Возможно, я немного размечталась. Надо было, конечно, получше соображать.

А несколько месяцев спустя и появилась статья. Кто-то принес ее мне, выдрав из журнала. Фотография моей *stérogie*¹⁸, несколько абзацев, посвященных мне.

¹⁴ Обязательный, диктуемый существующими условиями или модой (фр.).

¹⁵ Мясные заготовки и паштеты (фр.).

¹⁶ Котлетки из мелко рубленной свинины или гусятины, обжаренные в сале (фр.).

¹⁷ Сухие колбаски домашнего приготовления (фр.).

¹⁸ Блинная (фр.).

«Те, кто приезжает в Анже в поисках аутентичной кухни и всевозможных лакомств, могут, разумеется, сразу направиться в престижный ресторан "Деликатесы Дессанж". Но в таком случае они наверняка пропустят одно из самых потрясающих открытий, которые я сделал во время своего путешествия по Луаре...» Читая это, я лихорадочно пыталась вспомнить, говорила ли я что-нибудь о Яннике. «...За непритязательным фасадом обычной деревенской фермы творятся настоящие чудеса кулинарии...» Дальше следовала всякая чушь насчет того, что «креативный гений этой дамы придал новый импульс сельским традициям». Нетерпеливо, чувствуя, как мою душу охватывает панический ужас, я скользила взглядом по строкам в поисках неизбежного. Одно-единственное упоминание фамилии Дартижан – и все мои столь тщательно возведенные бастионы зашатаются.

Может показаться, что я преувеличиваю. Ничего подобного. В Ле-Лавёз войну помнят очень хорошо. Там еще есть люди, которые до сих пор друг с другом не разговаривают. Например, Дениз Мориак с Люсиль Дюпре или Жан-Мари Боне с Коленом Брассо. А в Анже всего несколько лет назад нашли старую женщину, запертую в чердачном помещении над квартирой, что находилась на верхнем этаже. Не помните? Ее там заперли родители еще в 1945 году, узнав, что она сотрудничала с немцами. Ей было тогда всего шестнадцать лет. И вот через пятьдесят лет, когда ее отец наконец окочурился, беднягу выпустили оттуда, старую и безумную.

А как насчет тех стариков – некоторым из них восемьдесят, а то и девяносто, – которых судят как бывших военных преступников? Теперь это слепые старцы, больные, страдающие деменцией, с вечной счастливой улыбкой на лице и бессмысленным взглядом. Невозможно поверить, что и они когда-то были молоды. Невозможно представить себе, какие кровавые мысли таились в этих, ставших такими хрупкими, черепах, в этих мозгах, ныне лишенных памяти. Разбей сосуд, и его содержимое утечет от тебя. Всякое преступление живет своей жизнью и требует своего оправдания.

«По странному совпадению, – читала я дальше, – хозяйка блинной "Crêpe Framboise", мадам Франсуаза Симон, оказалась родственницей хозяйки ресторана "Деликатесы Дессанж"...» У меня перехватило дыхание. Мне показалось, будто я случайно вдохнула пламя. А потом вдруг возникло ощущение, что я тону, коричневые воды реки тянут меня на дно, но языки пламени по-прежнему лижут мне глотку, проникают в легкие. «Да-да, нашей дорогой Лоры Дессанж! Странно, что она до сих пор не удосужилась выведать кулинарные секреты своей двоюродной бабушки. Я, например, безусловно предпочту непритязательное очарование "Crêpe Framboise" любому из весьма элегантных – но таких малосъедобных! – деликатесов Лоры».

Я снова обрела способность дышать. Значит, племянница, а не племянник. Значит, мне все-таки удалось сохранить свою тайну.

С тех пор я дала себе обещание: больше никаких глупостей, никаких бесед с добрыми джентльменами, пишущими о кулинарии! Через неделю ко мне явился фотограф из другого парижского журнала, но разговаривать с ним я отказалась. Просьбы об интервью, приходившие по почте, я попросту игнорировала. Мне написал какой-то издатель, предлагая издать книгу кулинарных рецептов. Впервые в «Crêpe Framboise» был такой наплыв посетителей – и специально прибывших из Анже, и просто туристов, проезжавших мимо; это были элегантные господа на сверкающих новеньких автомобилях. Я дюжинами отсылала их прочь. У меня имелись постоянные клиенты и привычное количество столиков – от десяти до пятнадцати, – и такое дикое количество людей я была просто не в состоянии обслужить.

Вести себя я старалась естественно. Но предварительные заказы принимать отказывалась, и люди выстраивались перед блинной в очередь. Пришлось пригласить еще одну официантку. И все же я не обращала внимания на столь внезапно возникшее и неприятное мне повышенное внимание к моему кафе. И когда снова приехал тот маленький человечек, пишу-

щий о кулинарии, с которого все и началось, да еще и принялся со мною спорить, взывая к моему разуму, я даже слушать его не пожелала. Нет, сказала я, не позволю вам использовать мои рецепты в вашей газетной колонке. И никакой книги по кулинарии я писать не буду. И никаких фотографий здесь делать не разрешу. «Crêpe Framboise» останется тем, чем и была: обыкновенной деревенской блинной.

Я понимала: если я буду тверда, как скала, и сумею продержаться достаточно долго, они в итоге оставят меня в покое. Но, увы, непоправимое уже свершилось: Лора и Янник знали теперь, где меня найти.

Кассис наверняка все им рассказал. Он давно уже поселился в Анже, в квартирке неподалеку от центра. На письма он, правда, никогда не был особенно щедр, но все же время от времени писал мне. Эти письма состояли в основном из похвал в адрес его знаменитой невестки и замечательного сынка. В общем, после той статьи и последовавшей шумихи Лора и Янник решили во что бы то ни стало меня разыскать. А в качестве «неожиданного подарка» притащили с собой Кассиса. Видно, думали, что мы растрогаемся после стольких лет разлуки. Но хоть у Кассиса глаза и слезились, как у всех старых ревматиков, мои-то остались совершенно сухими. Да в нем, собственно, почти ничего и не сохранилось от моего старшего брата, к которому я когда-то была сильно привязана; он растолстел, черты лица расплылись и потонули в тестообразных щеках, нос покраснел, щеки покрылись паутиной фиолетовых сосудов, улыбка стала какой-то неуверенной. Те чувства, которые я испытывала к нему в детстве, считая его, своего старшего брата, героем, который может все – залезть на самое высокое дерево, прогнать диких пчел и украсть мед из улья, запросто переплыть Луару в самом широком месте, – теперь сменились легкой ностальгией по прошлому, обладавшей, к сожалению, изрядным привкусом презрения. Все это, в конце концов, было так давно. И этот толстяк, которого я увидела в дверях своего дома, казался мне совершенно чужим человеком.

Сперва они повели себя очень умно. Они ничего у меня не просили. Лишь выразили беспокойство по поводу того, что я живу совершенно одна, и преподнесли мне подарки: кухонный комбайн, страшно удивившись, что у меня до сих пор его нет, зимнее пальто и радиоприемник. И предложили съездить куда-нибудь вместе. А однажды даже пригласили меня в свой ресторан, больше похожий на просторный сарай, со столиками из искусственного мрамора, накрытыми клетчатыми бумажными скатерками, с неоновыми огнями, с сушеной морской звездой и ярко раскрашенными пластмассовыми крабами, «запутавшимися» в рыбацких сетях, развешанных по стенам. Я что-то такое буркнула насчет подобного интерьера, хотя и несколько неуверенно, и Лора тут же принялась объяснять мне, ласково похлопывая меня по руке:

– А это, тетушка, как раз и называется «китч». Вряд ли вам подобные вещи могут понравиться, но в Париже, поверьте, это сейчас очень модно.

И она улыбнулась мне, продемонстрировав все свои зубы. Зубы у нее были очень белые и очень крупные, а волосы – цвета только что смолотого перца. Они с Янником то и дело прямо на людях обнимались и целовались, и меня, должна сказать, это здорово смущало. А еда у них в ресторане была... современная, наверно. Тут я не судья. Какой-то салат с довольно убогой заправкой: много разных овощей, порезанных в виде мелких цветочков. Может, немного цикория там и было, но в целом – ничего особенного, в основном просто старые салат-латук, редиска и морковь причудливых форм. Затем подали кусок трески – неплохой, должна признать, но очень маленький – с белым винным соусом, луком-шалотом и листочком мяты, что, по-моему, было совершенно лишним. На десерт предложили тонюсенький ломтик грушевого тортика, зачем-то политый шоколадным соусом и посыпанный сахарной пудрой и шоколадной стружкой. Просматривая меню, я обратила внимание на то, сколько там всякой самодовольной чуши, например «нугатин из разных сортов печенья на соблазнительной основе из тончайшего теста, украшенный шоколадной глазурью и пикантной подливой из абрикосов». Я-то думала, что мне принесут обычный пирог-флорентин, но этот «нугатин» оказался не больше

пятифранковой монетки. А ведь так все было расписано, будто это угощение им сам Моисей с горы принес! А уж цена! В пять раз дороже самого дорогого из моих кушаний, и это еще без вина. Я-то, конечно, ни за что не платила. Однако мне сразу закралась в голову мысль о том, что за столь внезапное внимание со стороны Лоры и Янника мне еще придется расплачиваться.

Так оно и вышло.

Через два месяца поступило первое предложение. Я получу тысячу франков, если передам им свой рецепт *paella antillaise* и позволю вставить это блюдо в меню их ресторана. «Паэлья по-антильски от тетушки Фрамбуазы», упомянутая Жюлем Лемаршаном в июльском номере «*Hôte et Cuisine*»¹⁹ за 1991 год. Сперва я решила, что это шутка. «Нежнейшая смесь свежих даров моря, вкус которых оттеняют зеленые бананы, ананас, мускатель и рис, слегка приправленный шафраном». Прочитав это, я рассмеялась. Да что у них, собственных рецептов не хватает?

– Не смейтесь, тетушка, – произнес Янник почти сердито; его блестящие черные глаза были совсем близко и смотрели на меня в упор. – Мы с Лорой действительно были бы вам очень благодарны.

И он широко улыбнулся мне.

– Вы, тетушка, не смущайтесь. – Лучше б они так меня не называли! Лора обняла меня за плечи холодной голой рукой. – Уж я позабочусь, чтобы все знали: это ваш рецепт.

Они так просили, что я не выдержала. Собственно, я не против, чтоб и другие готовили по моим рецептам; в конце концов, с жителями Ле-Лавёз я уже много чем поделилась. Я бы и Лоре с Янником могла рассказать, как готовить эту «паэлью по-антильски», и подарить еще сколько угодно других рецептов, но при условии, что никаких «тетушек Фрамбуаз» они в меню упоминать не будут. Построив себе спасительную норку, я вовсе не имела намерения привлекать к ней чье-то ненужное внимание.

Они моментально согласились со всеми моими требованиями и почти даже не спорили; но через три недели в «*Hôte et Cuisine*» был опубликован рецепт «паэльи по-антильски от тетушки Фрамбуазы» в сопровождении восторженной статьи Лоры Дессанж. «Надеюсь, что вскоре смогу поведать вам и еще кое-какие чудесные рецепты сельской кухни, которыми обещала с нами поделиться тетушка Фрамбуаза, – писала она. – А пока вы можете попробовать наши блюда в "Деликатесах Дессанж", улица Ромарен, Анже».

Полагаю, им и в голову не пришло, что я могу эту статью прочесть. А может, просто решили, что я совсем не то имела в виду, когда велела им не упоминать о «тетушке Фрамбуазе», и, когда я ткнула им в нос эту статью, принялись извиняться, как дети, пойманные на очаровательной шалости. Моя паэлья уже пользовалась неслыханной популярностью, и теперь они мечтали включить в свое меню целый раздел кушаний «от тетушки Фрамбуазы», например мои *couscous à la provençale*, *cassoulet trois haricots*²⁰ и, разумеется, «знаменитые блинчики тетушки Фрамбуазы».

– Понимаете, тетушка, – объяснял мне Янник с победоносной улыбкой, – самое главное, вам даже делать ничего не придется. Просто будьте собой, и все. Такой вот, естественной.

– А я могла бы вести колонку в нашем журнале, – прибавила Лора. – «Советы тетушки Фрамбуазы» или что-то в этом роде. Конечно же, вам, тетушка, ничего писать не потребуется. Я все сделаю сама.

И она лучезарно мне улыбнулась, точно запуганному ребенку, нуждавшемуся в поддержке.

Они снова притащили с собой Кассиса, который тоже лучезарно улыбался, хотя и был несколько смущен; мне показалось, что ему все-таки не по себе.

¹⁹ «Хозяйка и кухня» (фр.).

²⁰ Кускус по-провансальски, рагу из баранины в горшочке с тремя сортами фасоли (фр.).

– Но ведь мы это уже обсуждали. – Я очень старалась держаться спокойно и твердо, чтобы голос ни в коем случае не дрогнул. – По-моему, я вполне ясно дала понять, что не желаю ни в чем таком участвовать. И никакой вашей помощи мне не надо.

Кассис был ошеломлен.

– Для моего сына это такая блестящая возможность, – промямлил он умоляюще. – Ты только представь себе, как полезна ему подобная публикация в журнале!

Янник кашлянул и поспешно внес свои поправки:

– Папа просто имеет в виду, что это выгодно всем нам. Возможности тут поистине безграничны. Особенно если дело пойдет. Можно, например, выставить на рынок конфитюры и варенье тетушки Фрамбуазы, печенье тетушки Фрамбуазы. И конечно, вы, тетушка, получали бы с этого изрядный процент.

Покачав головой, я сказала несколько громче, чем прежде:

– Ты меня, кажется, плохо слушал или не слушал совсем. Повторяю: я не хочу никаких публикаций. Не хочу никаких процентов. Мне все это совершенно не нужно.

Янник и Лора переглянулись.

– И если вы думаете, а по-моему, вы именно так и думаете, – совсем уж резким тоном продолжала я, – что это можно сделать и без моего согласия, в конце концов, вам всего-то и нужны имя да фотография, то учтите: если я еще раз услышу, что в вашем или в любом другом журнале появился какой-нибудь «рецепт тетушки Фрамбуазы», я в тот же день позвоню издателю журнала и продам ему права на все кулинарные рецепты, какие только у меня есть. Да ладно, черт побери, я отдам их бесплатно!

Я задыхалась, сердце молотом стучало в груди, меня переполняли одновременно бешеный гнев и смертельный ужас. Нет уж, я никому не позволю шутки со мной шутить! И посадить в тюрьму дочь Мирабель Дартижан никому не удастся! Лора с Янником, видно, поняли, что я серьезно. Это сразу стало ясно по их физиономиям.

Они, правда, пытались возражать, хотя и довольно беспомощно:

– Но тетушка...

– И прекратите называть меня тетушкой!

– Дайте-ка я поговорю с ней, – вмешался Кассис, с трудом поднявшись с кресла.

Я обратила внимание на то, как сильно он с годами одряхлел, съежился, как-то весь осел, точно неудачное суфле. Судя по всему, самое незначительное усилие заставляло его морщиться от боли.

– Пойдем лучше в сад, Буаз, – предложил он.

Усевшись на ствол упавшего дерева возле заброшенного колодца, я испытала странное чувство раздвоенности: казалось, Кассису достаточно снять эту маску толстого старика, и он снова станет прежним: живым, беспечно смелым и немного диковатым.

– Почему ты так поступаешь, Буаз? – спросил он. – Это из-за меня?

Я медленно покачала головой.

– К тебе это не имеет ни малейшего отношения. И к Яннику тоже. – Я мотнула подбородком в сторону дома. – Ты хоть заметил, как я восстановила наш старый дом?

Он пожал плечами.

– Если честно, никогда не мог понять, зачем он тебе. Я бы тут ничего и пальцем не тронул. Просто мороз по коже, стоит подумать, что ты снова тут поселилась. – И он как-то странно на меня посмотрел – понимающе, остро. А потом с улыбкой произнес: – Впрочем, это как раз в твоём духе, Буаз, – поселиться в её доме. Ты ведь всегда была её любимицей. А теперь ты ещё и так на неё похожа.

Тоже пожал плечами, я спокойно предупредила его:

– Ладно, ты мне зубы не заговаривай.

– Вот-вот, ты и ведешь себя теперь совсем как она. – И в его голосе слышалась сложная смесь любви, вины и ненависти. – Буаз...

Я посмотрела на него.

– Но ведь кто-то же должен ее помнить! Я никогда не сомневалась, что этим «кто-то» точно будешь не ты.

Он лишь беспомощно отмахнулся.

– Так ведь здесь-то, в Ле-Лавёз...

– Здесь никто и не догадывается, кто я такая, – прервала я брата. – И никто меня с теми событиями не связывает. – Я вдруг усмехнулась. – Знаешь, Кассис, для большинства людей все старухи на одно лицо.

Кассис кивнул и уточнил:

– И ты думаешь, «тетушка Фрамбуаза» все испортит?

– Я знаю это. Знаю, что так и будет.

Помолчав, он как ни в чем не бывало заметил:

– Что-что, а врать ты всегда здорово умела. Ты и эту особенность от нее унаследовала. Умение врать и прятаться. Вот я, например, весь нараспашку.

И он широко раскинул руки, словно желая это продемонстрировать.

– С чем тебя и поздравляю, – равнодушно откликнулась я: он ведь и сам в это верил.

– И готовить ты тоже отлично умеешь, это я признаю. – Он посмотрел через мое плечо на деревья в нашем старом саду; ветви сгибались под тяжестью созревших плодов. – Матери это было бы приятно. Приятно узнать, что ты продолжила ее дело. Господи, как же все-таки ты на нее похожа, – медленно повторил он; в его голосе звучало не одобрение, а констатация факта, к которой примешивались легкая неприязнь, страх и одновременно восхищение.

– Она оставила мне свой дневник, – вдруг сообщила я. – Тот самый, с кулинарными рецептами. Свой альбом.

Его глаза расширились от изумления.

– Вот как? Ну что ж, ты была ее любимицей...

– Заладил одно и то же, – нетерпеливо прервала я его. – Если у матери и была любимица, так это Ренетт, а вовсе не я. Ты же помнишь...

– Она сама мне сказала, – пояснил Кассис. – Сказала, что из нас троих у тебя единственной есть голова на плечах, есть чутье. «В этой хитрой маленькой сучке куда больше моего, чем в вас обоих, в десять раз больше!» – это ее выражение.

Звучало и впрямь правдоподобно. Я словно слышала ясный, резкий голос матери, острый, как осколок стекла. Она, наверно, была в тот момент за что-то сердита на Кассиса и не сумела подавить очередной приступ свойственной ей ярости. Она крайне редко по-настоящему нас била, но словами могла огреть не хуже плетки!

Кассис поморщился.

– И потом, знаешь, она так это сказала, – тихо прибавил он, – таким ледяным тоном, так сухо! И смотрела на меня так странно, словно испытывала. Словно ждала, как я отреагирую.

– И как ты отреагировал?

Он пожал плечами.

– Заплакал, конечно. Мне ведь было тогда всего девять.

Ну конечно же, он заплакал! Еще бы! Это как раз в его духе. Он всегда был слишком чувствительным, несмотря на все свои хулиганские выходки и внешнюю диковатость. Он часто убегал из дома, ночевал где-то в лесу или в нашем шалаше на дереве, зная, что сечь его за это мать не будет. Она, кстати, втайне поощряла подобные поступки; наверно, они казались ей проявлением непокорного нрава и силы воли. А я, оказавшись тогда на месте Кассиса, попросту плюнула бы ей в лицо.

– Послушай, Кассис... – Эта мысль пришла в голову внезапно, у меня даже дыхание перехватило от волнения. – А мать... Ты не помнишь, она никогда не умела говорить по-итальянски? Или по-португальски? Она никаких иностранных языков не знала?

Брат был явно ошарашен моими вопросами и лишь молча покачал головой.

– Ты уверен? А в ее альбоме...

И я поведала ему о тех записях на странном, чужом языке, о тех тайных записях, которые я так и не сумела расшифровать.

– Дай-ка мне поглядеть.

Мы стали вместе перелистывать пожелтевшие страницы. Кассис с невольным восхищением касался негнувшимся пальцем фотографий, засушенных цветов, крылышек бабочек, вклеенных в альбом кусочков ткани, однако я заметила, что самих записей он избегает касаться.

– Боже мой, – прошептал он. – Я ведь и понятия не имел, что она куда-то все записывает. – Он поднял на меня глаза. – И ты еще уверяешь, что не была ее любимицей!

Сперва его, казалось, больше всего заинтересовали именно кулинарные рецепты. Он водил пальцами по строчкам, и пальцы его словно обретали прежнюю ловкость.

– «Tarte mirabelle aux amandes»²¹, – бормотал он. – «Tourteau fromage»²². «Clafoutis aux cerises rouges»²³. Это я помню! – воскликнул он вдруг с молодым энтузиазмом, совсем как прежний Кассис, и тихо прибавил: – Тут есть все. Все.

Я ткнула пальцем в одну из записей на чужом языке.

Минуту или две брат изучал ее, потом рассмеялся и сообщил:

– Никакой это не итальянский! Неужели ты не помнишь, что это такое? – Кажется, он вовсю забавлялся; раскачивался и даже попискивал от смеха; и уши у него тряслись, большие стариковские уши, напоминавшие опенки-перестарки. – Это же папа придумал такой язык! «Bilini-enverlini», «задом наперед» – так он называл его. Разве ты не помнишь? Он и сам постоянно им пользовался.

Я попыталась вспомнить. Мне было семь, когда он погиб. Должно же было что-то остаться в памяти! Но, увы, там осталось очень мало. Все исчезло в алчной темной глотке войны. Я помнила отца лишь частично, какими-то разрозненными, странными фрагментами. Помнила, например, запах, исходивший от его старой куртки, запах табака и шариков от моли. Помнила, что он любил иерусалимские артишоки, и всем нам, хотя больше никто из нас эти артишоки не любил, приходилось раз в неделю их есть. Помнила, как однажды я случайно проткнула рыболовным крючком кожистую перепонку между указательным и большим пальцами, а он этот крючок вытаскивал; помнила его руки, обнимавшие меня, и его голос, убеждавший меня не бояться. Но его лицо я помнила только по фотографиям, расплывчатым и неясным. Где-то в глубине души таились кое-какие тайные воспоминания, не проглоченные, точнее, исторгнутые той темной безжалостной глоткой: отец, болтающий с нами на своем чепуховом языке и весело улыбающийся; смеющийся Кассис и я сама, тоже смеющаяся над какой-то не очень понятной мне шуткой; а матери в кои-то веки не видно, она где-то далеко, на безопасном расстоянии, и ничего не слышит, возможно, ее сразил один из приступов мигрени, подаривший нам этот неожиданный праздник.

– Так, кое-что помню, – наконец произнесла я.

И тогда брат принялся терпеливо объяснять. Этот язык состоит из перевернутых слогов, из задом наперед написанных слов, к которым приделываются дурацкие, ничего не значащие суффиксы и префиксы. Ini tnawini inoti plainexini – I want to explain (Я хочу объяснить). Minini toni nierus niohwni inoti – I'm not sure who to (Но не уверена кому).

²¹ Сладкий пирог из мирабели с миндалем (фр.).

²² Сырный хлеб (фр.).

²³ Пирог с красной вишней (фр.).

Вообще странно, но Кассиса, кажется, ничуть не заинтересовали эти загадочные записи. Он по-прежнему пожирал глазами материны кулинарные рецепты. Остальное для него не существовало. А вот рецепты он мог понять, мог попробовать, мог вспомнить вкус знакомых блюд. Я прямо-таки чувствовала: ему не по себе оттого, что я так близко, словно мое сходство с матерью заразно и может передаваться ему.

– Ах, если б мой сын мог хоть одним глазком взглянуть на эти рецепты, – тихо промолвил он.

– Не вздумай ему сказать! – резким тоном осадила я.

Мне уже было понятно: чем меньше Янник будет знать о нашем прошлом, тем лучше.

Кассис пожал плечами:

– Конечно, конечно. Я ничего ему не скажу. Обещаю.

И я поверила, чем и доказала, что вовсе не настолько похожа на мать, как он считает. Господи, я же ему поверила! И какое-то время мне казалось, что он и впрямь свое обещание сдержит. Да и Янник с Лорой соблюдали дистанцию и о «тетушке Фрамбуазе» даже не вспоминали.

Лето плавно перекатилось в осень, таща за собой мягкий шлейф опавших листьев.

6

«Янник говорит, что видел сегодня Старую щуку», – пишет мать об отце.

«Прибежал с реки, сам себя не помнит от волнения, бормочет что-то. Даже рыбу забыл на берегу, так спешил, и я окрысилась на него, чего, мол, время зря теряешь. А он посмотрел на меня беспомощно и печально и словно собирался что-то ответить. Но промолчал. Может, ему стыдно было, что он рыбу забыл. У меня внутри все словно закаменело, застыло. Хочу ему сказать что-нибудь, да не знаю что. Дурной это знак – увидеть Старую щуку, так все говорят, только мы и без того дурных знаков видели больше, чем нужно. Может, потому я теперь и стала такой?»

Материн альбом я читала медленно. Отчасти из опасений, что нечаянно узнаю нечто совсем для меня нежелательное и буду вынуждена навсегда это запомнить. А отчасти из-за того, что повествование само по себе оказалось на редкость запутанным: порядок событий был сознательно и искусно изменен – так путают карты, показывая какой-нибудь хитроумный фокус. Например, я с трудом сумела вспомнить тот день, что описан выше, хотя потом не раз о нем думала. И почерк у матери был хоть и очень аккуратный, но невыносимо мелкий; если я слишком долго вглядывалась в ее бисерные буквы, у меня даже виски начинало ломить. В этом я тоже как мать; я хорошо помню, как мучили ее головные боли, и, по заверениям Кассиса, перед этими приступами у нее часто кружилась голова. Он рассказал мне, что приступы мигрени у нее особенно усилились после моего рождения. Он вообще был единственным из нас, детей, кто еще хранил в памяти образ матери, какой она была раньше.

Под рецептом подогретого сидра с пряностями она пишет:

«Я еще помню, каково это – когда у тебя светлая голова. Когда чувствуешь себя целой. Так было, пока не родился К. И теперь я все пытаюсь вспомнить, каково это – быть совсем молодой. И все про себя повторяю: лучше б мы жили в другом месте. И никогда в Ле-Лавёз не возвращались. Я. старается помочь. Но любви больше нет. Он теперь меня скорее боится; боится того, что я могу сотворить. С ним. С детьми. Никакой сладости в страданиях нет, что бы там люди ни думали. В конце концов, страдания пожирают все. Я. и в семье-то остается только ради детей. Мне следует быть ему благодарной. Он мог бы запросто уйти, и никто бы его не осудил. В конце концов, он ведь здесь родился».

Никогда и никого она в свои страдания не посвящала; она терпела боль до тех пор, пока могла, а потом надолго исчезала в своей темной комнате с задернутыми шторами, а мы ходили по дому на цыпочках, точно осторожные кошки, и говорили шепотом. Примерно раз в полгода у матери случался действительно серьезный приступ, после которого она на несколько дней как бы впадала в прострацию. Однажды – я тогда была еще совсем маленькой – она упала, когда шла с ведром от колодца к дому; мне показалось, что она споткнулась; она перелетела через ведро и упала; вода разлилась и потекла по сухой тропинке. Соломенная шляпа матери съехала набок, и мне стал виден ее страшный разинутый рот и выпученные глаза. Я была в огороде одна, рвала зелень к обеду, и как-то сразу подумала, что мать умерла – так страшно она молчала, таким страшным был черный провал ее рта на изжелта-бледном, словно обтянутом кожей худом лице, такими жуткими были остановившиеся глаза, похожие на шарикоподшипники. Я очень медленно опустила на землю корзинку и пошла к ней.

Тропинка как-то странно расплывалась у меня под ногами, словно я напялила чьи-то чужие очки, и я даже немного спотыкалась. Мать лежала на боку. Одна нога в стоптанном

башмаке отброшена в сторону; темная юбка задралась так, что видна верхняя часть чулка; рот жадно разинут, точно она просит есть. Но страшно мне не было, наоборот, я испытывала какое-то странное спокойствие.

Она умерла, решила я, и от этой мысли меня вдруг охватила такая сильная буря эмоций, что на мгновение я словно оглохла и ослепла. Ощущение было ярким, как хвост пролетевшей кометы, от него покалывало под мышками и в животе что-то вздувалось, как подходившее тесто. Ужас, горе, смятение – тщетно искала я в себе эти чувства, их там не было и в помине. Зато голова наполнилась светом, словно после взрыва какой-то ядовитой шутихи. Я тупо смотрела на труп матери, и душа моя полнилась облегчением, надеждой и безобразной, какой-то дикарской радостью...

Ах, эта сладость...

...Все у меня внутри словно закаменело, застыло...

Знаю, знаю. Собственно, не стоило и надеяться, что вы поймете мои тогдашние чувства. Мне и самой они представляются поистине чудовищными, когда я вспоминаю, как это было, и пытаюсь разобраться, уж не привиделось ли все это. Разумеется, подобное состояние вполне объяснимо последствием испытанного шока. С людьми в состоянии шока происходят порой весьма странные вещи. Даже с детьми. С детьми особенно. Тем более с такими замкнутыми и диковатыми, какими были мы, обитавшие в собственном безумном мирке, с нашим Наблюдательным постом, нашей рекой и нашими Стоячими камнями, надежными стражами наших тайных ритуалов. И все-таки, как ни крути, а испытывала я именно радость.

Я стояла возле матери; ее мертвые глаза, не мигая, смотрели на меня, а я все размышляла, надо ли их закрыть. Было что-то тревожащее в этих глазах, ставших круглыми и бессмысленными, как у рыбы. Они походили на глаза Старой шуки, когда я ее наконец поймала и пригвоздила к Скале сокровищ. Из уголка рта у матери стекала, поблескивая, нитка слюны. Я придвинулась чуть ближе.

И вдруг она стремительно выбросила руку и схватила меня за лодыжку. Нет-нет, она, оказывается, не умерла, она чего-то ждет, и глаза ее горят злобно и вполне осмысленно! Губы ее шевельнулись, и она мучительно четко проскрипела, точно ножом по стеклу:

– Слушай. Принеси мою палку. – Я даже зажмурилась, чтобы не завопить от страха. – Принеси ее. Из кухни. Быстро.

Но я продолжала стоять, неотрывно на нее глядя; а ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку.

– С утра чувствовала, что голова начинает раскалываться, – бесцветным голосом пожаловалась она. – И уже понимала: не миновать сильного приступа. На часы гляну – только полциферблата вижу. И апельсинами пахло. Принеси палку. Помоги мне.

– Я думала, ты умираешь. – Мне вдруг показалось, что наши с ней голоса до странности похожи: одинаково скрипучие и твердые, как металл. – Я думала, ты уже умерла.

Уголок ее рта дрогнул, и она издала какое-то тихое карканье или задушенный хрип, в общем, в этих звуках я не сразу распознала смех. Я бегом бросилась на кухню, но это жуткое карканье по-прежнему звучало у меня в ушах. Я нашла ее палку – собственно, это была довольно толстая ветка боярышника, немного кривоватая, чаще всего мать притягивала ее к себе верхние ветки фруктовых деревьев – и принесла ей. Мать уже поднялась и стояла на коленях, с силой опираясь о землю руками и время от времени резко и нетерпеливо встряхивая головой, словно ее изводили осы.

– Хорошо, – глухим, вязким голосом произнесла она, будто рот у нее был полон глины. – А теперь иди. Скажи отцу. Я... к себе... пойду... – Каким-то безумным усилием она заставила себя подняться и стоять прямо, тяжело опираясь на палку; ее шатало, но голос звучал резко, как прежде: – Я же сказала: убирайся!

И она ударила меня, неуклюже шлепнула вялой ладонью с дрожащими скрюченными пальцами, чуть не потеряв при этом равновесие и удержавшись лишь с помощью палки. Я кинулась прочь и обернулась, лишь оказавшись достаточно далеко от нее и на всякий случай присев за кустом красной смородины. Мать уже ковыляла к дому, с трудом волоча ноги и оставляя после себя на мокрой дорожке странные, неровные петли следов.

В тот раз я впервые по-настоящему поняла, какая беда постигла мать. Позже отец, пока она отлеживалась в темной комнате, объяснил нам кое-что насчет часов и апельсинов. Правда, из его слов мы мало что поняли. Оказывается, у матери бывают ужасные приступы некой болезни, когда очень сильно болит голова, и она сама порой не понимает, что делает. «Был ли у кого-нибудь из вас солнечный удар?» – спросил отец. – Если был, то вы, наверно, помните, как при этом сильно кружится голова, каким странным кажется все вокруг, словно предметы сами надвигаются на тебя, а звуки вдруг становятся оглушительно громкими». Мы недоуменно уставились на отца. Кажется, только Кассис, которому тогда было уже девять (а мне всего четыре!), что-то понимал из его объяснений.

– Вот она в таком состоянии что-нибудь сделает, – говорил отец, – а потом и вспомнить не может, действительно ли сделала это. Такие это ужасные приступы!

Мы в страхе смотрели на него. Ужасные приступы!

Мой детский разум воспринимал эти слова как сказку о ведьмах. О пряничном домике. О семи лебедях. Я представляла себе, как мать лежит в темноте на постели, ее глаза открыты, а с губ срываются странные звуки, похожие на вертких угрей. И мне казалось, что она видит даже сквозь стену – видит не только меня, но и мои внутренности, – и смеется этим своим жутким, каркающим смехом, и трясется всем телом. Порой во время ее ужасных приступов отец так и ночевал на кухне, спал, сидя на стуле. А однажды утром мы встали и увидели, что он там, прямо в раковине, моет голову и вода вся красная от крови. Отец тут же стал оправдываться, что это случайно случилось. Просто глупая случайность. Но я хорошо помню блестящие пятна крови на чистых терракотовых плитках пола. А еще на столе почему-то лежало полено для печки. И на нем тоже была кровь.

– Пап, а мама не побьет нас?

Некоторое время он смотрел на меня. Секунду, может, две. Колебался. По глазам было видно: прикидывает, много ли можно сказать ребенку.

Потом улыбнулся. «Ну что за нелепый вопрос!» – читалось в его улыбке.

– Конечно нет, детка. Вас она никогда и пальцем не тронет.

И он обнял меня, прижал к себе; я почувствовала аромат табака, и шариков от моли, и сладковатый запах застарелого пота. Но я навсегда запомнила то его мгновенное замешательство, сомнение, смущенный, оценивающий взгляд. Ведь он тогда явно подумал: а может, все-таки им признаться? Но потом, видно, решил, что мы пока маловаты, что времени впереди полно и он еще успеет все хорошенько объяснить нам, когда мы станем постарше.

А поздно ночью я услышала шум в родительской спальне, крики, звон бьющегося стекла. Утром я встала очень рано и обнаружила, что отец снова всю ночь провел на кухне. Мать с постели поднялась поздно, зато какая-то очень веселая – по своим меркам, разумеется, – и все что-то тихо напевала себе под нос, помешивая зеленые помидоры в медном тазике для варки варенья, а мне сунула пригоршню желтых слив, достав их из кармана фартука. Я застенчиво поинтересовалась, не стало ли ей получше, и она лишь непонимающе на меня взглянула. Ее лицо показалось мне совершенно пустым и белым, как чистая тарелка. Позже я украдкой пробралась в ее комнату и обнаружила там отца, который заклеивал вошеной бумагой разбитое оконное стекло. На полу валялись осколки и циферблат каминных часов, уткнувшийся стрелками в доски пола. Над изголовьем кровати кое-где виднелись подсохшие красноватые мазки; я прямо-таки с восхищением разглядывала отчетливые отпечатки пяти пальцев, похожие на пять запятых, там, где мать оперлась рукой о стену, и округлое пятно, оставшееся от ее ладони.

Но уже через пару часов, когда я снова заглянула туда, стены были дочи́ста оттерты и комната опять выглядела вполне опрятной. Никто из родителей ни словом не обмолвился о ночном происшествии; оба вели себя так, будто и не случилось ничего из ряда вон выходящего. Но с тех пор отец стал всегда запирать на ночь двери нашей спальни, а окна закрывал на задвижку, словно боялся, что к нам кто-то вломится.

7

Когда отец погиб, я, положив руку на сердце, не особенно горевала. Честно пыталась отыскать в своей душе хоть немного сожалений, но лишь постоянно натыкалась на какую-то твердую сердцевинку вроде вишневой или сливовой косточки. Я повторяла себе, что никогда больше не увижу его лица, но и это меня не пугало: к тому времени я уже и так почти забыла его лицо. Да и сам он превратился для меня в нечто вроде иконы, в неодушевленную пластмассовую фигурку святого с выпученными глазами и светящимися медными пуговицами на кителе. Я пыталась представить себе отца на поле боя – как он лежит, мертвый, весь израненный осколками мины, взорвавшейся у него под ногами. В общем, всякие ужасы, но даже эти ужасы казались мне какими-то ненастоящими, точно сны. Кассис переживал гибель отца куда сильнее. Когда мы получили похоронку, он сбежал из дома и не появлялся целых два дня; потом все-таки вернулся, совершенно измученный, страшно голодный и весь распухший от укусов комаров. Он ночевал под открытым небом на том берегу Луары, где леса сменяются болотами, и, как мне кажется, пытался воплотить в жизнь безумную идею пойти на фронт, как и отец. Но у него ничего не получилось: он попросту заблудился в лесу и не один час бродил по кругу, пока снова не вышел к Луаре. Он, конечно, делал вид, что ничего особенного не случилось, рассказывал о каких-то немыслимых приключениях в лесу, но я в кои-то веки ни одному его слову не поверила.

После этого Кассис стал постоянно драться с мальчишками и часто приходил домой в разорванной одежде и с кровью под ногтями. Или часами один гулял по лесу. Но никогда не плакал и очень этим гордился; а как-то раз, когда Филипп Уриа попытался его утешить, весьма грубо его отшил. А вот Ренетт, судя по всему, была даже довольна тем вниманием, которое ей стали уделять в деревне после гибели отца. Люди приносили ей подарочки или гладили по головке, случайно встретив на улице. В местном кафе наше будущее – и особенно будущее нашей матери – постоянно обсуждали тихими, проникновенными голосами. Моя сестра научилась по собственному желанию пускать слезу или, напротив, изображать «храбрую», сиротскую улыбку – и моментально обретала всеобщее сочувствие и разные сласти в подарок; кроме того, она заработала репутацию самой тонкой натуры в нашем семействе.

После смерти отца мать никогда больше о нем не упоминала. Порой возникало ощущение, будто он и не жил вместе с нами. Ферма прекрасно обходилась без него; пожалуй, дела на ней шли даже лучше, чем прежде. Мы, например, выкопали на огороде весь топинамбур, который никто в семье, кроме него, не любил, и посадили на этих грядках спаржу и красную брокколи, листья которой покачивались и что-то шептали на ветру. В то время мне вдруг стали сниться страшные сны: то я оказывалась под землей и лежала там, разлагаясь и чувствуя жуткий запах собственного разложения, то тонула в Луаре и придонный ил обволакивал мою безжизненную плоть. А если я была еще жива и, протягивая руки, молила о помощи, то на меня наваливались сотни тел других утопленников, которые, мягко покачиваясь в текучей воде, лежали на дне плотным слоем, плечом к плечу. Некоторые из них были еще целые, а некоторые уже успели разложиться, и у них не было то всего лица, то нижней челюсти, они жутко «улыбались» зияющим провалом на месте рта и выпучивали мертвые глаза в нарочито радостном приветствии. После таких снов я просыпалась с криком, вся мокрая от пота и слез, но мать ни разу ко мне даже не приблизилась. Вместо нее подходили Кассис и Ренетт, проявляя то нетерпение, то бесконечную доброту. Они или щипали меня, что-то сердито шипя, или брали на руки и укачивали, пока я снова не засыпала. Иногда Кассис рассказывал нам всякие истории. Мы с Рен-Клод с наслаждением слушали, не сводя с него глаз, в окно лился лунный свет, а брат все говорил и говорил. Чаще всего о великанах, о ведьмах, о розах-людоедах, о горах и о драконах, которые умели принимать человеческое обличье. О, наш Кассис

был тогда отличным рассказчиком! И хотя со мной он порой бывал не слишком-то любезен, а часто попросту смеялся над моими ночными кошмарами, но никакой обиды в моей душе не осталось; зато его ночные повествования и его сияющие глаза я теперь часто и с благодарностью вспоминаю.

8

После того как отца не стало, мы постепенно и сами научились распознавать приближение материнских ужасных приступов. В таких случаях ее речь всегда становилась невнятной, неуверенной, и она то и дело нетерпеливо встряхивала головой – видно, у нее уже начинало ломить виски. Движения у нее тоже становились неуверенными, бывало, потянется за ложкой или за ножом и промахнется, а потом шлепает рукой по столу или по краю раковины, словно пытаясь на ощупь отыскать нужный предмет. Или вдруг спросит: «Который час?», хотя большие круглые кухонные часы висят точно напротив нее. И в такие дни она всегда задавала один и тот же вопрос резким, подозрительным тоном: «Опять кто-то из вас апельсины в дом при- тащил?»

Мы молча мотали головой. Апельсины были для нас деликатесом, нам лишь изредка доводилось их отведать. На рынке в Анже мы их, конечно, видели: толстые испанские апель- сины с плотной ноздреватой шкуркой или привезенные с юга корольки, более тонкокожие и нежные, которые торговцы разрезали пополам, чтобы видна была их сочная, красно-лиловая мякоть. Наша мать всегда шарахалась от этих прилавков, словно ее тошнило от одного вида апельсинов. Однажды какая-то симпатичная женщина на рынке подарила нам апельсин, один на всех, так мать потом запретила нам входить в дом, пока мы с ног до головы не вымылись, не выскребли щеткой все из-под ногтей и не протерли руки мазью с лимонным соком и лаван- дой. И даже после этого она утверждала, что от нас еще пахнет апельсином, и целых два дня держала все окна открытыми, чтобы запах окончательно выветрился. Разумеется, апельсины, вызывавшие ее ужасные приступы, были из области фантазий. Этот несуществующий запах вызывал начало ее мигрени; стоило ей упомянуть, что в «доме снова пахнет апельсинами», и уже через несколько часов она запиралась в темной спальне, прикрыв лицо носовым платком, смоченным лавандовым уксусом, и положив рядом таблетки от головной боли. Таблетки эти, как я узнала впоследствии, были морфием.

Она никогда ничего не объясняла. Все знания о ее болезни мы приобрели благодаря собственным наблюдениям и умозаключениям. Чувствуя приближение мигрени, мать просто удалялась к себе, ни словом не обмолвившись и предоставляя нас самим себе. В итоге мы, естественно, стали рассматривать ее приступы как своего рода каникулы, как передышку про- тяженностью от двух часов до двух дней и старались использовать их на полную катушку. Эти день-два были для нас поистине счастливыми, помнится, я мечтала, чтобы они никогда не кончались. Мы сколько угодно купались в Луаре, ловили раков на мелководье, совершали дол- гие походы в лес, до тошноты объедались вишнями, или сливами, или зеленым крыжовником, дрались и стреляли друг в друга из рогатки мелкой картошкой, украшали Стоячие камни тро- феями, добытыми в своих разнообразных приключениях.

Стоячими камнями мы называли останки старой пристани, давным-давно снесенной быстрым течением. Пять каменных столбов, один чуть короче остальных, торчали довольно высоко над водой; сбоку на каждом была металлическая скоба, ронявшая слезы ржавчины на крошащиеся камни мола, поверх которых некогда крепились доски настила. Именно к этим скобам мы и привешивали трофеи: варварские гирлянды из рыбьих голов и цветов, записки, написанные тайным шифром, всякие «волшебные» камешки и фигурки из плавника. Послед- ний столб находился довольно далеко от берега на глубоком месте, и течение там было осо- бенно сильным; под этим-то столбом мы и прятали свои сокровища, сложенные в самую обык- новенную жестянку, завернутую в промасленную тряпку и подвешенную на обрывке цепи. Цепь, в свою очередь, была привязана к веревке, а та – к скобе. Этот столб мы гордо именовали Скалой сокровищ. Чтобы достать само сокровище, надо было сперва доплыть до столба, что само по себе требовало особого мастерства, а затем, одной рукой держась за скобу, вытянуть

из-под воды металлическую коробку, отцепить ее и вместе с ней доплыть до берега. Считалось, что на такой подвиг способен только Кассис. В «сокровищнице» хранились такие вещи, которые ни один взрослый, разумеется, не считал бы сколько-нибудь ценными. Набор рогаток, жевательная резинка, для пущей сохранности завернутая в промасленную бумагу, палочка ячменного сахара, три сигареты, несколько монет в потрепанном кошельке, фотографии актрис – фотографии, как и сигареты, были собственностью Кассиса – и несколько номеров иллюстрированного журнала, в котором публиковались разные «жуткие» истории о преступлениях и убийствах.

Иногда в добыче подобных сокровищ – Касс называл это охотой – участвовал и Поль Уриа, но до конца мы не посвящали его в свои тайны, хотя лично мне Поль нравился. Его отец торговал наживкой и рыболовными принадлежностями возле шоссе, ведущего в Анже, а мать, чтобы свести концы с концами, брала на дом всякую починку. Поль был единственным ребенком в семье, и родители его были уже немолоды, он вполне годился им во внуки. Большую часть времени он попросту старался не попадаться им на глаза и жил так, как страстно хотелось бы жить мне. Летом он даже ночевал в лесу, и у его родителей это не вызывало ни малейшего беспокойства. Никто лучше Поля не умел искать грибы или делать из ивовых веточек свистульки. Руки у него вообще были на редкость ловкие и умелые, но сам он порой казался неуклюжим и говорил очень медленно, сильно заикаясь. Особенно сильно он начинал заикаться, если поблизости оказывались взрослые. Он был почти ровесником Кассиса, но в школу не ходил; вместо школы он помогал на ферме своему дяде – доил коров, отводил их на пастбище и пригонял обратно. Со мной Поль обращался очень ласково и куда более терпеливо, чем Кассис; он никогда не смеялся, если я чего-то не знала, и не презирал меня за то, что я еще маленькая. Теперь-то, конечно, он уже старик, но порой мне кажется, что из нас четверых меньше всех постарел именно Поль.

Часть вторая

Запретный плод

1

Это случилось в начале июня. Лето обещало быть жарким, воды в Луаре уже было мало-вато, а ее быстрое течение намыло множество отмелей с зыбучими песками. И змей в тот год расплодилось больше, чем обычно; плоскоголовые коричневые гадюки прятались в прохладном иле на мелководье, и одна такая тварь укусила Жаннетт Годен, жарким полднем шлепавшую как ни в чем не бывало по берегу. А неделю спустя Жаннетт похоронили во дворе церкви Св. Бенедикта и поставили на могилке небольшой крест и статую ангела. Надпись на постаменте гласила: «Возлюбленной дочери... 1934–1942». Я была всего на три месяца ее старше.

Мне вдруг стало казаться, что прямо у меня под ногами разверзлась бездна, бездонная пропасть, словно гигантская пасть, пышущая жаром. Ведь если Жаннетт умерла, значит, могу и я? Значит, может и кто угодно? Кассис относился к моим переживаниям свысока, ему было уже тринадцать, и он, умудренный опытом, с легким презрением пояснял: «Глупая, в военное время всегда умирает много людей. И взрослых, и детей. Да и во все времена люди умирают».

Я попыталась объяснить ему свои чувства и обнаружила, что у меня ничего не выходит. Одно дело, думала я, когда во время войны погибают солдаты, пусть даже и мой родной отец, пусть даже и мирные жители во время бомбежек, хотя в Ле-Лавёз мы бомбежек почти не знали. Но гибель Жаннетт – это совсем другое. Мои ночные кошмары стали еще ужаснее. А днем я часами следила за рекой, держа наготове рыболовный сачок. Я то и дело вылавливала на мелководье проклятых коричневых гадюк, камнем разбивала мудрые плоские змеиные головы, а тела нанизывала на древесные корни, обнажившиеся и торчавшие из прибрежных осыпей. Через неделю вдоль берега уже висело штук двадцать змеиных тушек, испускавших омерзительную вонь, отчасти рыбную, а отчасти противно сладковатую, точно блевотина. У Кассиса и Ренетт еще не закончился учебный год – они оба учились в collège в Анже, – так что в тот день на берегу ко мне мог присоединиться только Поль. Нос я зажала прищепкой для белья, чтобы не так сильно ощущать вонь, и бродила вдоль берега, тщательно перемешивая сачком воду, похожую на суп из глины.

Поль был в шортах и сандалиях; за ним на плетеном веревочном поводке тащился верный пес Малабар.

Равнодушно взглянув в их сторону, я снова уставилась на воду. Поль сел неподалеку, Малабар, тяжело дыша, плюхнулся с ним рядом. Я продолжала заниматься ловлей змей, не обращая на них никакого внимания.

– Ч-что случилось? – наконец спросил Поль.

– Ничего, – пожала я плечами. – Ловлю вот.

Он помолчал и уточнил почти равнодушно:

– З-змей ловишь?

Кивнув, я с некоторым вызовом бросила:

– Да, а что?

– А ничего. – Он погладил Малабара по голове. – Лови себе на здоровье.

И снова умолк; молчание проползло между нами, как липкая улитка; я не выдержала и первой подала голос:

– А вот интересно: очень ей было больно?

Поль задумался, и мне показалось, что он сразу понял, кого я имею в виду. Покачив головой, он уклончиво промямлил:

– Не знаю...

– Я слышала, что, когда яд проникает в кровь, у человека все постепенно немеет. И он вроде как начинает засыпать.

Поль опять уклонился от прямого ответа. Он еще помолчал, не соглашаясь со мной, но и не споря, потом произнес:

– К-кассис с-считает, что Жаннетт Годен наверняка увидела Старую щуку. Вот та ее и прокляла. Ну, сама знаешь... Потому ее з-змея и ук-кусила.

Я недоверчиво мотнула головой. Кассис обожал рассказывать подобные страшные истории, начитавшись своих любимых приключенческих журналов, где печатались повести с броскими названиями: «Проклятие мумии» или «Стая варваров».

– По-моему, вообще никакой Старой щуки здесь нет, – презрительно заявила я. – Во всяком случае, я никогда ее не видела. А такой вещи, как проклятие, на свете и вовсе не существует. Это всем известно.

Поль посмотрел на меня, печально, но все же с некоторым возмущением, и возразил:

– Конечно же они существуют! И проклятия, и Старая щука. Она-то совершенно точно живет у нас в реке, м-мой п-папаша сам ее однажды видел. Еще до моего рождения. Эт-то с-самая б-большая щука на с-свете! Ты даже представить себе не можешь, какая она здоровенная! Мой отец увидел ее, а через неделю свалился с велосипеда и с-сломал ногу. Да и твой отец тоже ее...

Вдруг он умолк и смущенно потупился.

– Только не мой отец! – возмутилась я. – Отец погиб на фронте!

Перед моими глазами вдруг предстала жутковатая картина: отец плечом к плечу с другими идет в одном общем строю через фронт, растянувшийся почему-то в обе стороны далеко за линию горизонта, идет, точно в пасть безжалостного чудовища...

Поль помотал головой и упрямо повторил:

– Там она. Прячется в самом глубоком омуте. Ей, может, уже лет сорок, а то и все пятьдесят. Щуки ведь долго живут, особенно такие старые. Эта Старуха черная, как придонный ил. И жутко умная. Ей сцапать птичку, севшую на воду, все равно что нам кусочек хлеба проглотить. Мой отец считает, что это и не щука вовсе, а призрак-убийца, проклятое существо, которое навечно приставлено надзирать за живыми. Вот поэтому она и ненавидит всех нас.

Никогда еще я не видела Поля таким словоохотливым, но невольно увлеклась и слушала с интересом. С нашей рекой всегда было связано множество разных легенд и сказок. Но эта история о гигантской Старой щуке, рот которой усеян множеством блестящих рыболовных крючков, доставшихся ей от тех, кто пытался ее поймать, меня прямо-таки заворожала. Считалось, что в глазах этой твари светится злобный дьявольский ум, а в брюхе наверняка таится неведомое бесценное сокровище.

– Отец говорит, – продолжал Поль, – что тому, кто ее поймает, она исполнит любое желание. Вот он бы, по его словам, потребовал с нее миллион франков да плюс к тому, чтобы дала заглянуть Грете Гарбо²⁴ под юбку.

Поль глупо ухмыльнулся; ну, тебе этого не понять, ты еще маленькая – читалось в его улыбке.

Я немного поразмыслила и решила: ни в проклятие, ни в исполнение желаний я, пожалуй, все-таки не верю, но отчего-то образ Старой щуки не выходил у меня из головы.

²⁴ Грета Гарбо – знаменитая американская актриса, звезда Голливуда, игравшая роли загадочных, роковых женщин; с 1941 г. перестала сниматься в кино и избегала появления на публике; в 1954 г. получила премию «Оскар».

– Если она действительно там, значит, ее можно поймать! – выпалила я. – Это наша река! И мы поймаем ее, эту Старую шуку!

Мне вдруг стало совершенно ясно: я должна непременно поймать ее, просто обязана это сделать! Я подумала о страшных снах, которые преследовали меня с тех пор, как погиб отец; сны о том, как я тону, как меня вместе с грудой других мертвецов выносит на берег черной волной вздувшейся Луары и мертвая плоть утопленников касается меня, липнет к телу, а я пронзительно кричу и давлюсь этим криком, и его словно кто-то заталкивает мне обратно в глотку, и я снова тону, уже как бы сама в себе... Почему-то все это воплотилось вдруг в образе Старой шуки, и хотя в те времена я, безусловно, не обладала еще аналитическим мышлением и не могла разобраться, что к чему, я вдруг почувствовала твердую уверенность: если поймаю эту рыбину, то со мной наверняка что-нибудь да случится. Что именно, я бы не решилась предположить даже мысленно. Но что-то должно произойти, думала я со все возрастающим, непостижимым возбуждением. Что-то обязательно должно произойти!

Поль растерянно хлопал глазами.

– Ты хочешь ее поймать? – уточнил он. – Но зачем?

– Это наша река, – настойчиво сказала я. – И в нашей реке ее быть не должно!

На самом деле я просто не сумела выразить переполнявшие меня эмоции; мне казалось, что шука неким тайным, неведомым мне самой образом оскорбила меня, причем куда сильнее, чем эти проклятые змеи; особенно меня раздражала ее способность от всех ускользать, а также ее невероятный возраст и явная склонность к злодейству. Но я не смогла подобрать нужные слова, лишь чувствовала, что она настоящее чудовище.

– Да и не поймать ее тебе, – продолжал между тем Поль. – Многие уже пытались. Взрослые мужики, между прочим. Чем только ее не ловили, и удочками, и сетями. Только она любые сети прокусывает и уплывает. А уж лески... их она одним рывком прямо посередине разрывает. Очень она сильная, понимаешь? Сильнее любого из нас.

– Ну и пусть сильнее, – упорствовала я. – Можно заманить в ловушку.

– Надо быть семи пядей во лбу, чтоб Старуху заманить в ловушку, – солидным тоном возразил Поль.

– Ну и что? – Я начала злиться и резко повернулась к нему со сжатыми кулаками и перекошенным от отчаяния лицом. – Ничего, у нас тоже будет семь пядей во лбу! Нас ведь четверо: Кассис, я, Ренетт и ты. Если ты, конечно, не струсил.

– Я н-не с-ст-т-трушу! Т-только э-т-то же н-н-невозможно!

Поль снова начал сильно заикаться, как всегда, когда чувствовал, что на него давят.

Я презрительно на него посмотрела.

– Ну и ладно. Я и сама все сделаю, если вы откажетесь помогать. Погодите, вот я эту вашу Старуху поймаю!..

Вдруг глаза обожгло слезами. Я сердито смахнула слезы тыльной стороной ладони и заметила, что Поль смотрит на меня с каким-то странным выражением лица, но молчит. Злобно ткнув сачком в теплую глинистую жижу у берега, я воскликнула:

– Подумаешь, какая-то старая рыбина! – Я снова ткнула сачком. – Вот поймаю ее и подвешу на Стоячих камнях. – Я взмахнула мокрым грязным сачком, указывая на Скалу сокровищ. – Вон там. Да-да, прямо вон там, – тихо повторила я и сплюнула на землю, подтверждая только что данную клятву.

2

Весь тот жаркий месяц мать чувствовала в доме запах апельсинов, и примерно раз в неделю за этим следовал ужасный приступ. Пока Кассис и Ренетт были в школе, я старалась сбежать из дома на реку; ходила я туда в основном одна, но иногда ко мне присоединялся и Поль, если ему, конечно, удавалось удрать с дядиной фермы, где дел было вечно невпроворот.

Я достигла самого противного возраста, превратившись в весьма дерзкого и строптивого ребенка; мне не хватало общества сверстников, а матери я не слушалась – не выполняла ту работу, которую она велела, не являлась домой к обеду, а то и к ужину, приходила лишь поздно вечером, вся грязная, со слипшимися от пота неприбранными волосами, и одежда моя вся была в желтых разводах от высохшего речного ила и песка. Вообще-то я, можно сказать, с рождения отличалась редкой строптивостью, но в то девятое лето своей жизни я каждое слово матери встречала в штыки; мы с ней выслеживали друг друга, как кошки, охраняющие собственную территорию. Казалось, у обеих от малейшего прикосновения шерсть так и встает дыбом, а из глаз сыплются искры. Любую фразу мы воспринимали как потенциальное оскорбление, поэтому самый обычный разговор превращался в ходьбу по минному полю. За обеденным столом мы с ней сидели напротив и прямо-таки испепеляли друг друга взглядами, поедая суп или блинчики. Кассис и Рен обходили нас стороной, точно испуганные придворные поссо-рившуюся королевскую чету, и старались помалкивать, лишь изумленно переглядываясь.

Не знаю, почему мы постоянно налетали друг на друга, как бойцовые петухи; возможно, всему виной действительно был мой переходный возраст. Я понемногу взрослела и теперь словно в ином свете видела мать, терроризировавшую меня в течение всего детства. Я замечала седину в ее волосах и морщины по углам рта и с оттенком презрения понимала: передо мной всего лишь стареющая женщина, которая во время своих ужасных приступов становится совершенно беспомощной и вынуждена прятаться в темной спальне.

А она постоянно старалась меня на чем-нибудь подловить, нарочно расставляла всякие ловушки. Во всяком случае, так я считала. Теперь-то мне кажется, что все это у нее скорее выходило невольно, что во всем виноват ее несчастный характер, заставлявший ее изводить меня всевозможными придирками, – тогда как я, тоже в силу собственного несносного характера, не могла не бросить ей вызов своим неповиновением. В то лето я была убеждена, что она и рот-то открывает, только чтобы меня отругать. Осудить мои манеры, одежду, внешность, высказывания. С ее точки зрения, все во мне заслуживало осуждения. Я неряха, ложась спать, как попало бросаю одежду на спинку кровати, при ходьбе так шаркаю ногами и сутулюсь, что скоро у меня вырастет горб, я обжора и вечно набиваю брюхо фруктами из нашего сада, за столом толком не ем, а значит, вырасту тощей и костлявой. И вообще, почему бы мне не постараться быть такой, как Рен-Клод? В двенадцать лет сестра уже созрела и выглядела вполне взрослой девушкой. Мягкая, нежная, сладкая, как темный мед. Со своими янтарными глазами и волосами цвета осенних листьев она напоминала героиню какой-то волшебной сказки или одну из тех богинь киноэкрана, которыми я восхищалась. Когда мы были помельше, Рен позволяла мне заплетать ей косы, и я всегда вплетала в эти толстые тяжелые пряди цветы и веточки с ягодами, а голову ей любила украшать венками, в которых моя сестра была похожа на лесного духа. Теперь же в облике Рен и в ее повадке появилось нечто совсем взрослое, некая сладкая покорность. И мать не раз говорила, что я рядом с ней выгляжу как лягушка, как уродливый, тощий лягушонок со своим огромным ртом и вечно надутыми, точно от обиды, губами, со своими крупными и неуклюжими ручищами и ножищами.

Особенно хорошо я помню одну стычку с матерью, случившуюся, как всегда, во время обеда. К столу мать подала раupiettes – рулетики из молотой телятины и свинины, перевязанные шнурком; их тушат в густом соусе из моркови, лука-шалота и помидоров с добавлением белого

вина. Я со скучающим видом сидела над тарелкой, не проявляя к еде ни малейшего интереса. Ренетт и Кассис молча жевали и делали вид, что остальное их не касается.

Мать уже была доведена до бешенства моим молчанием и явным нежеланием есть приготовленный ею обед. Она даже кулаки стиснула. После гибели отца некому было охладить ту ярость, что вечно кипела в ее душе почти у самой поверхности, едва сдерживаемая тоненькой пленкой приличий. Мать, правда, редко нас била – что, кстати, в те времена казалось весьма необычным, почти ненормальным, – но, как я подозреваю, отнюдь не по причине чрезмерной любви к нам. Скорее уж она опасалась, что, начав бить кого-то, попросту не сможет остановиться.

– Да не сутулься ты, ради бога! – пронзительно бросила она; ее голос показался мне едко-кислым, как незрелый крыжовник. – Смотри, будешь так сутулиться – в конце концов горбатой станешь.

Быстро и довольно-таки нагло я взглянула на нее и поставила локти на стол.

– И локти со стола убери! – почти простонала она. – Посмотри на свою сестру. Нет, ты посмотри, посмотри на нее! Разве она горбится? Разве сидит за столом точно неотесанный поденщик? Разве губы над тарелкой надувает, словно я подсунула ей какую-то дрянь?

Но и после этой тирады я нисколько на Ренетт не обиделась. А вот на мать я, естественно, злилась и при каждом удобном случае всячески демонстрировала ей непокорность, которая сквозила в каждом моем жесте, в каждом движении моего тщедушного, еще детского тела. В общем-то, я сама давала сколько угодно поводов для травли. Мать, например, требовала, чтобы выстиранную одежду мы вешали на веревку за подол, я же нарочно вешала за воротник. Банки и кувшины в кладовой всегда следовало ставить наклейками вперед, а я нарочно поворачивала их так, чтобы наклеек не было видно. И конечно, я всегда «забывала» вымыть руки перед едой. Я из вредности меняла порядок, в котором мать обычно развешивала сковороды на кухне – от большей к меньшей. Я оставляла окно на кухне открытым, чтобы оно с грохотом захлопнулось от сквозняка, как только мать распахнет дверь и войдет. Я нарушала тысячу лично ею установленных правил, и на каждое подобное нарушение она реагировала одинаково – яростно и немного растерянно. Соблюдение этих паршивых правил казалось ей, видимо, очень важным; она полагала, что с их помощью она как раз и управляет нашим крохотным мирком. Отними их у нее – и она станет такой же, как все, в полной мере ощутит свои сиротство и неуверенность.

Но тогда я еще не понимала этого.

– Ты упрямая маленькая сучка! Вот что ты рогом уперлась? – Мать оттолкнула от себя тарелку; в ее голосе не было ни враждебности, ни любви, только холод и равнодушие. – Впрочем, в твои годы я тоже такой была, – прибавила она, впервые на моей памяти упомянув свое детство.

И вдруг улыбнулась. Но улыбка вышла натянутая, безрадостная. Казалось немыслимым, что эта женщина когда-то была юной. Я потыкала вилкой рулетики в густом, совершенно застывшем соусе.

– Тоже вечно со всеми спорила да ссорилась, – продолжала мать. – Чем угодно была готова пожертвовать, любого побить, кому угодно сделать больно, лишь бы доказать свою правоту. Лишь бы одержать победу. – Ее черные, как деготь, глаза смотрели на меня внимательно, даже с некоторым любопытством. – Уж очень ты своенравная. Впрочем, я-то с самого первого дня, как ты на свет появилась, знала, какой ты будешь. Из-за тебя все это снова и началось. И куда хуже, чем прежде. А все потому, что ты ночи напролет орала, но грудь не брала. Не желала, и все. А я лежу без сна, двери поплотней закрою, и в голове у меня точно молот стучит...

Я молча слушала, и вдруг мать рассмеялась – как ни странно, довольно весело – и принялась убирать со стола. Больше она о войне между нами не упоминала ни разу, хотя до конца этой войны было еще ох как далеко.

3

Наблюдательный пост мы устроили на огромном старом вязе, который рос на нашей стороне Луары, наполовину нависая над водой; из обвалившегося берега торчала целая борода его мощных корней, стараясь дотянуться до воды. Забраться на вяз ничего не стоило даже мне, а с его верхних ветвей была видна вся наша деревня. Кассис и Поль построили на нем «домик», точнее, шалаш: укрепили в развилке ветвей примитивный настил и, связав несколько склоненных ветвей, сделали «крышу». Когда они этот шалаш достроили, именно я проводила там порой целые дни. Ренетт не очень-то любила лазить по деревьям, хотя подъем на Наблюдательный пост был дополнительно облегчен веревкой с узлами, да и Кассис, повзрослев, редко бывал там, и чаще всего шалаш находился в полном моем распоряжении. Я залезала туда, чтобы спокойно подумать и помечтать, а заодно и понаблюдать за дорогой, по которой иногда проезжали немцы в джипах или, гораздо чаще, на мотоциклах.

Деревня Ле-Лавёз немцев мало интересовала. Там не было никаких общественных строений, которыми можно было воспользоваться, ни казармы, ни школы, ни еще чего-либо подобного. Свою штаб-квартиру они устроили в Анже, а в окрестных деревнях оставили только немногочисленные патрули; немцев я видела, если не считать их машин и мотоциклов, мчавшихся по дороге, только когда они раз в неделю навевались на ферму Уриа реквизируют излишки продуктов. К нам на ферму они редко заглядывали, ведь коров у нас не было, только козы да несколько поросят. Нашим основным источником дохода всегда были фрукты, но лето только начиналось, и они еще не созрели. Впрочем, раз в месяц к нам без особой охоты заезжали двое-трое солдат, но лучшие припасы мать надежно прятала, а меня в таких случаях всегда отсылала в сад. И все-таки солдаты в серых мундирах очень меня интересовали; сидя на Наблюдательном посту, я стреляла воображаемыми снарядами в пронесившиеся мимо немецкие джипы и с любопытством присматривалась к сидевшим там немцам. Впрочем, особой враждебности к ним я не испытывала, как, по-моему, и все наши ребята. Нами действительно руководило чистое любопытство, когда мы «выслеживали» их; и мы повторяли ругательства: «грязные боши», «нацистские свиньи», всего лишь инстинктивно подражая родителям. Я, например, понятия не имела, что происходит на той территории Франции, которая оказалась полностью оккупирована немцами, и с трудом представляла, где находится Берлин.

Однажды немцы явились к старому Дени Годену, чтобы присвоить его скрипку. Внучка Дени, Жаннетт Годен, на следующий день рассказала мне, как это происходило. Уже спустились сумерки, так что ставни на окнах были закрыты и шторы опущены. Тут раздался стук в дверь, и Жаннетт пошла открывать. На пороге стоял немецкий офицер, он вежливо, с трудом подбирая французские слова, обратился к ее деду:

– Месье, я... понимаю... у вас есть... скрипка. Я... в ней нуждаюсь.

Из его объяснений следовало, что вроде бы несколько немецких офицеров решили создать военный оркестр. Наверно, даже немцам нужно было как-то развлечься в свободное время.

Старый Дени Годен посмотрел на офицера и добродушно заметил:

– Скрипка, *mein Herr*, она ведь как женщина. Ее взаймы не дают.

И он очень аккуратно прикрыл дверь перед носом у фрица. Некоторое время по ту сторону двери царило молчание – видимо, офицер переваривал услышанное. Жаннетт уставилась на деда, испуганно вытаращив глаза. И вдруг снаружи донесся дикий хохот; смеялся тот самый немецкий офицер, громко повторяя: «*Wie eine Frau! Wie eine Frau!*»²⁵

Больше он к Годенам не приходил, а скрипка так и осталась у Дени почти до конца войны.

²⁵ Как женщина! Как женщина! (*нем.*).

4

Но в начале того лета меня главным образом интересовали отнюдь не немцы. Днем и ночью я думала об одном: как поймать Старую щуку. Планы так и роились у меня в голове. Я изучала всевозможные способы рыбной ловли. Выясняла, что больше подходит для ловли угрей, какие ловушки ставить на речных раков, как пользоваться бреднем и неводом, на что вообще лучше ловить – на живца или на мормышку. Я постоянно ходила к отцу Поля Уриа и буквально изводила его вопросами, и в итоге он выложил мне все, что знал о наживках. Я выкапывала на прибрежных осыпях жирных червей и училась держать их во рту, чтобы в момент насадки на крючок они были теплыми. Я ловила мясных мух и надевала их на рыболовные крючки, которые затем один за другим нанизывала на леску, точно елочную гирлянду. Я мастерила клетки из ивовых прутьев и бечевки, а внутрь клала наживку из объедков, от которой тянулись тонкие нити. Достаточно было слегка коснуться одной из этих нитей, и клетка моментально захлопывалась, а потом вместе со всем содержимым вылетала из воды, вытолкнутая распрямившейся веткой, которую я подсовывала под днище клетки и слабо-слабо закрепляла с помощью тех же нитей. В самых узких местах на реке я натягивала меж песчаными берегами куски старой рыболовной сети. А у противоположного берега Луары оставляла лески с наживкой из тухлого мяса. С помощью своих хитроумных приспособлений я наловила множество окуней, уклейек, пескарей, гольянов и угрей. Часть улова я относила домой и смотрела, как мать готовит пойманную рыбу. Кухня теперь служила для нас единственной в доме нейтральной территорией, местом краткой передышки от бесконечных военных действий. Обычно я молча стояла возле матери, слушая, как она негромко и монотонно разъясняет мне, как что готовить, а иногда мы вместе варили ее фирменный *bouillabaisse angevine*²⁶ – нечто вроде густого рыбного супа с красным луком и тимьяном – или запекали в фольге окуней с грибами и эстрагоном. Но часть рыбы я всегда оставляла на Стоячих камнях, развешивая ее в виде вонючих гирлянд как вызов врагу.

Однако проклятая Старая щука так ни разу и не появилась. По воскресеньям, когда у Рен и Кассиса не было занятий, я пробовала и их заразить своей страстью, но им охотиться на Старую щуку совершенно не хотелось. После того как Рен-Клод тоже поступила в *collège*, они оба как-то сразу от меня отделились. В конце концов, Кассис ведь был на целых пять лет старше меня, да и Рен – на три года. А вот между ними разница в возрасте почти не ощущалась; мне они оба казались такими взрослыми и такими похожими друг на друга – высокие скулы, одинаковый золотистый загар, – что их можно было даже принять за близнецов. Теперь они часто о чем-то переговаривались с таинственным видом, смеялись каким-то свежим шуткам, которые были понятны только им двоим, и сыпали новыми, совершенно мне неизвестными именами. То и дело я слышала из их уст странные, незнакомые то ли фамилии, то ли прозвища: *месье Тупе*²⁷, *мадам Фруссин*²⁸, *мадемуазель Кюлур*²⁹. Кассис давал прозвище каждому из учителей и отлично изображал их повадки и голоса, так что Рен хохотала до упаду. А некоторые имена они произносили только шепотом, под покровом темноты, надеясь, что я уже сплю. Это были вроде бы имена их новых друзей: Хайнеман, Лейбниц, Шварц; но любое упоминание об этих людях всегда сопровождалось приглушенным презрительным смехом, в котором отчетливо чувствовались вина и почти истерический страх. Речь точно шла не о жителях нашей

²⁶ Буйабесс по-анжуйски (*фр.*).

²⁷ *Toupet (фр.)* – чуб, вихор.

²⁸ *Frousse (фр.)* – страх.

²⁹ *Cul (фр.)* – задница.

деревни, и я догадалась, что это иностранные фамилии, но, когда спросила о них, Кассис и Рен-Клод глупо захихикали и, взявшись за руки, умчались куда-то в сад.

Их скрытность здорово раздражала меня. Отчего-то мои брат и сестра вдруг превратились в заговорщиков, хотя еще совсем недавно мы во всем были на равных. Наши общие развлечения они стали именовать детскими, а Наблюдательный пост и Стоячие камни принадлежали теперь практически мне одной. Рен-Клод заявила, что боится змей и на рыбалку больше не пойдет. Теперь она постоянно торчала у себя в комнате – делала разные сложные прически и вздыхала над фотографиями знаменитых киноактрис. Кассис, правда, почти всегда выслушивал – вежливо, но абсолютно невнимательно, – как я с возбуждением излагаю ему свои далеко идущие планы, но вскоре, извинившись, исчезал под тем якобы предлогом, что ему нужно переписать урок или выучить латинские глаголы для месье Тубона. И я опять оставалась одна. Только потом, став старше, я поняла, как трудно им было от меня отвязаться. Они назначали мне встречи и не являлись; или посылали меня через всю деревню с каким-нибудь бессмысленным поручением; или обещали встретиться со мной на берегу, а сами уходили в лес, и я тщетно ждала их у реки, и сердитые слезы жгли мне глаза. Но когда я возмущенно упрекала их, они притворно хлопали себя по губам и изумленно восклицали: «Не может быть! Неужели мы действительно сказали "у старого вяза"? Да нет, мы вроде бы договаривались у второго дуба!» Однако стоило мне повернуться к ним спиной, как они начинали противно хихикать.

Купались они теперь редко. Рен-Клод входила в воду с опаской и выбирала самые глубокие места с чистой водой, где змей обычно не встретишь. Я жаждала внимания старших и, чтобы его привлечь, совершала поистине невероятные прыжки в воду с самого крутого берега или оставалась под водой, пока Ренетт не впадала в панику и не начинала кричать, что я утонула. Но, несмотря на подобные уловки, они потихоньку ускользали от меня, и я чувствовала себя все более одинокой.

В тот период один лишь Поль остался мне верен, хоть и был старше Рен-Клод. Они с Кассисом были почти ровесниками, однако Поль почему-то всегда казался младше. Да и таким ученым, как мой брат, не был. В присутствии моих сестры и брата он порой лишался дара речи и, слушая их разговоры о школе, всегда улыбался с каким-то отчаянным смущением. Поль едва умел читать и писать, с трудом выводя крупные неровные буквы, словно какой-то малыш. Но он очень любил слушать, когда ему читают вслух, и я, если он приходил ко мне на Наблюдательный пост, читала ему разные истории из приключенческих журналов Кассиса. Мы забивались в наш «домик», он строгал перочинным ножом какую-нибудь деревяшку, а я читала вслух «Гробницу мумии» или «Вторжение марсиан». Между нами лежало полкаравая хлеба, и мы время от времени отрезали по ломтю и подкреплялись. Иногда Поль приносил с собой *rillettes*, завернутые в вощеную бумагу, или полголовки камамбера, и мы устраивали настоящее маленькое пиршество, к которому я старалась добавить то полный карман клубники, то один из маленьких козых сыров, обваленных в золе, которые моя мать называла зольничками. С дерева были видны все мои ловушки и сети, которые я, впрочем, все равно каждый час проверяла и, если нужно, цепляла свежую наживку, а пойманную рыбу выбирала на жаркое.

– Чего ты попросишь у нее, если все-таки поймашь?

Теперь Поль уже почти верил, что я эту щуку непременно поймаю, и в его голосе слышались невольное восхищение и легкий страх.

Немного подумав, я ответила:

– Не знаю. – И откусила кусок хлеба с *rillettes*. Потом еще помолчала и прибавила: – Какой смысл сейчас это обсуждать? Я ж еще не поймала. В таком деле спешить не стоит.

Да, вот именно: спешить мне совершенно не хотелось. Шла уже четвертая неделя июня, но мой энтузиазм ничуть не иссяк. Как раз наоборот. И равнодушие Кассиса и Рен-Клод лишь сильнее подстегивало упрямое желание во что бы то ни стало поймать Старую щуку. Мне она

представлялась неким таинственным черным талисманом, я чувствовала, что если заполучу этот талисман, то сумею исправить все, что у нас в жизни идет не так, как надо.

Ничего, думала я, я им еще покажу! Вот поймаю щуку, пусть тогда смотрят на меня с восхищением. Небось удивятся – и Кассис, и Рен, и, может быть, даже мать. А интересно, какое у нее тогда будет лицо? Может, она наконец как следует меня разглядит? А может, стиснет в ярости кулаки? Или, наоборот, нежно улыбнется и раскроет мне объятия?..

Тут моя фантазия иссякала. Вообразить себе что-то еще я просто не осмеливалась.

– И потом, – промолвила я с нарочитой скукой, – не очень-то я в это исполнение желаний верю. Я же говорила тебе об этом.

Поль насмешливо хмыкнул, посмотрел на меня и спросил:

– Если не веришь в исполнение желаний, зачем тогда столько со всем этим возишься?

Я покачала головой, помолчала и наконец произнесла:

– Не знаю. Наверно, просто чтобы чем-то заниматься.

Он расхохотался.

– Вот в этом вся ты, Буаз! Вся как на ладони! Надо же – ловить Старую щуку, просто чтобы чем-то заниматься!

И он снова захохотал, катаясь по полу нашего «домика». В итоге он подкатился к самому краю и чуть не свалился вниз в приступе совершенно непонятного мне веселья, и Малабар, привязанный у корней дерева, залаял так громко и отрывисто, что нам пришлось его успокаивать, а самим затихнуть, пока наше тайное убежище кто-нибудь не обнаружил.

5

Вскоре после этого разговора я обнаружила под матрасом у Рен-Клод губную помаду. Тоже мне, нашла где спрятать! Глупее не придумаешь – там ее любой мог увидеть, в том числе и мать; но у Ренетт всегда не хватало воображения. В тот день была моя очередь убирать постели, и тюбик, наверно, просто выкатился из-под матраса, когда я заправляла выбившуюся нижнюю простыню. Сперва я даже не поняла, что это такое. Мать никогда косметикой не пользовалась. Это был маленький золотой цилиндрок, напоминавший коротенькую ручку-самописку. Я повернула крышечку, чувствуя легкое сопротивление, и открыла. Я как раз решила на пробу мазнуть себя по руке, когда у меня за спиной кто-то испуганно охнул и передо мной возникла Ренетт с очень бледным, искаженным от гнева и растерянности лицом.

– Сейчас же отдай, – прошипела она. – Это мое!

Она выхватила у меня помаду, но не удержала скользкий тюбик, и тот закатился под кровать. Рен моментально нырнула следом, выудила его и выпрямилась. Лицо у нее так и пылало.

– Где ты это взяла? – с любопытством осведомилась я. – Маме известно, что ты пользуешься этой штукой?

– Не твое дело! – рявкнула Рен. – Ты не имеешь права рыться в моих вещах. Вот только посмей кому-нибудь наябедничать...

– А что, могу и наябедничать, – нагло заявила я и усмехнулась. – А могу и промолчать. Это уж от тебя зависит.

Сестра угрожающе шагнула ко мне, но я теперь почти сравнялась с ней ростом, и она, хотя злость и придала ей храбрости, все же не решилась со мной драться.

– Не надо, не говори, – лстивым тоном пропела она. – Хочешь, я сегодня пойду с тобой ловить рыбу? Или можно залезть на Наблюдательный пост и почитать журналы.

– Там посмотрим, – пожала я плечами. – И все-таки где ты это взяла?

Ренетт умоляюще на меня посмотрела.

– Обещай, что никому не скажешь.

– Обещаю.

Я плюнула себе на ладонь. Она секунду поколебалась и сделала то же самое. Потом мы скрепили сделку «печатью», сложив липкие от слюны ладошки.

– Ладно, слушай. – Рен, поджав ноги, устроилась на краешке кровати. – Это началось у нас в школе еще весной. У нас есть один учитель, преподает латынь. Месье Тубон. Это его Кассис прозвал месье Тупе, потому что у него такие смешные кудри, будто парик. Он вечно всеми недоволен. Это именно он то задерживает весь класс после уроков, то заставляет стоять неподвижно. Его у нас все ненавидят.

– Так тебе эту штуку дал учитель? – воскликнула я, просто не веря своим ушам.

– Нет, глупая, что ты! Не перебивай. Ты вроде в курсе, что боши реквизируют у нас в школе оба первых этажа, прежде всего классы с окнами во двор. Ну, для своего штаба. А во дворе муштруют солдат.

Конечно, я об этом слышала. Старая школа, расположенная в самом центре города, с просторными классами и закрытой площадкой для игр и спортивных занятий, идеально подходила для подобных целей. Кассис не раз говорил, что немцы проводят на дворе учения, надев серые рогатые противогазы, но никому на это смотреть не разрешается, так что во всех классах, выходящих во двор, обязательно наглухо закрывают ставни.

– Но кое-кто из ребят все равно потихоньку подглядывал в щель под одной из ставень, – продолжала Ренетт. – Хотя, по-моему, ничего интересного: маршируют без конца туда-сюда и что-то орут по-немецки. Тоже мне, великая тайна. – И сестра презрительно оттопырила нижнюю губу. – В общем, однажды старый Тупе застучал за этим занятием нескольких учени-

ков и давай нас отчитывать, Кассиса, меня и других ребят, ты их, впрочем, все равно не знаешь. Лишил нас законного свободного дня в четверг да еще задал целую кучу дополнительных упражнений по латыни! – Рен сердито фыркнула. – Можно подумать, сам святой! Он-то ведь тоже туда приперся, чтоб на бошей поглазеть! – Она пожала плечами и как ни в чем не бывало сообщила: – В общем, мы сумели ему отомстить. Старый Тупе живет при школе, в квартирке рядом со спальней мальчиков. Вот Кассис как-то и заглянул туда, пока его не было дома. И как ты думаешь, что он там нашел?

Я пожала плечами.

– Большой радиоприемник! Под кроватью! Ну, такой, который принимает длинные волны...

И Ренетт вдруг смущенно умолкла.

– А дальше что?

Я посмотрела на маленький золотой тюбик, который она по-прежнему сжимала в руке; мне было совершенно непонятно, какое отношение ее история имеет к губной помаде.

Она улыбнулась противной, взрослой улыбкой.

– Я знаю, нам не полагается иметь с бошами никаких дел, но нельзя же все время их избегать! – Она отчего-то произнесла это высокомерным тоном. – Ну вот мы, например, постоянно с ними сталкиваемся, то в воротах школы, то в кино.

Эти их поездки в Анже были привилегией, которой я ужасно завидовала. Мать разрешала Рен-Клод и Кассису по четвергам, в их свободный день, ездить в город на велосипедах и посещать кинотеатр или кафе. Конечно, я тут же надулась и сердито потребовала:

– Ладно, давай побыстрее выкладывай!

– А я что делаю? – возмутилась Ренетт. – Господи, Буаз, до чего ты все-таки нетерпеливая! – И она изящным движением поправила прическу. – В общем, как я уже говорила, все равно ведь с немцами иногда сталкиваешься. И они, кстати, не все такие уж плохие. – Снова эта противная, взрослая улыбка. – Некоторые из них очень даже милые. Уж во всяком случае, лучше старого Тупе.

Я нахмурилась и равнодушно заключила:

– Значит, один из немцев дал тебе помаду.

И чего было так трепыхаться из-за ерунды? – недоумевала я. Ренетт вечно суетится из-за всяких пустяков.

– Мы сказали им... ну, просто намекнули там одному... Насчет Тупе и его радиоприемника. – И Рен вдруг вся вспыхнула, щеки зарделись, как пионы. – А он подарил нам эту помаду. И сигареты Кассису. И еще кое-что, короче, всякие вещички. – Теперь она вдруг начала тараторить, ее глаза странно заблестели. – А через некоторое время Ивонна Кресонне увидела, как они выходили из квартиры Тупе вместе с ним самим и его радиоприемником. Так что теперь у нас вместо латыни дополнительный урок географии с мадам Ламбер, и никому не известно, что произошло с нашим латинистом.

Ренетт посмотрела прямо на меня; глаза у нее в этот момент казались совершенно золотыми, цвета кипящего сахарного сиропа, когда он начинает карамелизоваться.

– Ну, вряд ли с ним что-то случилось, – рассудительно заметила я, пожав плечами. – Не станут же они отправлять такого старика на фронт только за то, что у него есть радио.

– Нет, конечно не стали бы! – слишком поспешно подхватила Ренетт. – И потом, он действительно не имел права хранить у себя приемник. Все знают, что это не положено.

Я согласилась с ней. И впрямь не положено. Уж учитель-то должен соблюдать новые правила. Рен любовно разглядывала тюбик с помадой, ласково поглаживая его пальцами.

– Ты ведь не проболтаешься, да, Буаз? – Она тихонько дотронулась до моей руки. – Не проболтаешься?

Я отстранилась и машинально вытерла ту руку, которой она коснулась. Терпеть не могла подобные нежности.

– Вы с Кассисом часто с ними встречаетесь? – спросила я. – С этими немцами?

– Иногда, – ответила сестра.

– И каждый раз что-нибудь им рассказываете?

– Нет, – как-то слишком поспешно отозвалась она. – Мы просто с ними беседуем. Послушай, Буаз, ты ведь никому не проболтаешься, а?

– Может, не проболтаюсь, – улыбнулась я. – Если ты кое-что для меня сделаешь.

Рен прищурилась.

– Что именно?

– Мне бы тоже хотелось иногда ездить в Анже вместе с тобой и Кассисом, – спокойно заявила я. – В кино сходить, или в кафе, или еще куда.

Для пущего эффекта я помолчала, а она, продолжая щуриться, гневно сверлила меня взглядом, острым, как лезвие ножа.

– А если вы не хотите, – продолжала я притворно елейным тоном, – то я могу рассказать матери, что вы встречаетесь с людьми, убившими нашего отца. Что вы общаетесь с ними, шпионите для них. Шпионите для врагов Франции! Интересно, как ей это понравится.

Сестра явно встревожилась.

– Буаз, ты же обещала!

Я с суровым видом покачала головой:

– Мало ли что... Таков мой патриотический долг!

Наверно, эти торжественные слова прозвучали весьма убедительно. Ренетт побелела. Хотя на самом деле понятие «патриотический долг» для меня ровным счетом ничего не значило. И никакой враждебности к немцам я не испытывала, даже когда пыталась убедить себя, что это они убили моего отца. Даже если предполагала, что тот, кто его убил, вполне может находиться где-то рядом – точнее, там, в Анже, всего в часе езды на велосипеде, пьет пиво в баре и курит сигарету «Голуаз». Я вполне ясно могла это представить, однако образ врага был все же лишен должного смысла. Возможно, из-за того, что и лицо-то отца я помнила смутно. А может, причина была в ином, в том, почему дети так редко вмешиваются в ссоры взрослых, а взрослые так редко оказываются способны понять, отчего у детей возникает внезапная враждебность друг к другу. Я держалась с Ренетт чопорно, говорила неодобрительным тоном, но все это не имело ни малейшего отношения ни к нашему отцу, ни к Франции, ни к войне с немцами. На самом деле мне просто хотелось, чтобы меня снова приняли в игру, чтобы со мной обращались как с равной, чтобы мне тоже могли доверить любую тайну. А еще мне хотелось пойти в кино, увидеть Лаурела и Харди, венгра Белу Лугоши, Хамфри Богарта ^[1]; хотелось сидеть в мерцающей темноте зала между Кассисом и Рен-Клод и, может быть, держать в руке кулек с чипсами или лакричную палочку.

– Ты что, с ума сошла? – недоуменно воскликнула Ренетт. – Ты же знаешь, мать тебя ни за что одну в город непустит. Скажет, что ты еще слишком мала. И потом...

– А я бы одна и не поехала. Кто-нибудь из вас, Кассис или ты, мог бы подвезти меня на багажнике.

Сдаваться я и не думала. Рен добиралась до школы на велосипеде матери, а Кассис – на отцовском, очень высоком, неуклюжем, чем-то напоминавшем подъемный кран. Пешком было слишком далеко, и, не будь у них велосипедов, им пришлось бы жить в интернате, как большинству деревенских детей.

– Учебный год почти кончился, – рассуждала я. – Можно всем вместе съездить в Анже, посмотреть какой-нибудь фильм или просто так прошвырнуться.

Но на лице сестры было написано прямо-таки ослиное упрямство.

– Она не отпустит нас. Захочет, чтобы мы торчали дома и работали на ферме. Вот увидишь! Она терпеть не может, когда кому-то из нас хочется немного повеселиться.

– В последнее время ей постоянно мерещится запах апельсина, – деловито произнесла я, – а во время приступа она и не заметит нашего отсутствия. Можно ускользнуть потихоньку, и она даже ничего не узнает.

Уговорить Рен оказалось совсем нетрудно. Повзрослев, она стала еще более пассивной; за ее милой, чуть лукавой повадкой скрывалась природная лень, почти равнодушие. Теперь она уже смотрела прямо на меня, но все-таки бросила мне в лицо, точно жалкую горсть песка, свой последний, слабый протест:

– Ты спятила!

Мне было хорошо известно, что все мои поступки кажутся Рен чистым безумием. Она считала безумием столько времени находиться под водой, или, забравшись на самую вершину старого вяза, нашего Наблюдательного поста, скакать там на одной ножке, или вечно огрызаться на любое замечание матери, или есть незрелые фиги и яблоки.

Поэтому я решительно тряхнула головой и твердо заявила:

– Это все очень легко устроить. Можешь на меня положиться.

Сами видите, какой невинной была сначала наша цель. Мы никому не желали причинить боль; и все же заноза в глубине моей души настаивает, что это не совсем так, там хранится четкая и неумолимая память о том, как все было на самом деле. Мать поняла, как опасна наша затея, задолго до того, как это поняли мы сами. А меня с моим неугомонным, переменчивым нравом, готовую в любую минуту взорваться, как динамит, она понимала особенно хорошо и по-своему пыталась меня защитить, хотя и несколько странным способом, пыталась удержать при себе, пусть даже предпочла бы меня вовсе не видеть. Она уже тогда знала гораздо больше, чем я могла себе представить.

Но мне было не до нее. У меня уже созрел план, не менее хитроумный и тщательно продуманный, чем ловушки для Старой шуки. В какой-то момент мне, правда, показалось, что Поль обо всем догадался, но, если это и так, он ни одним словом себя не выдал. В общем, начиналось все с мелочей, а привело к лжи, к обману и кое-чему похуже.

Первый шаг был сделан у прилавка с фруктами субботним ярмарочным днем. Через два дня после моего девятого дня рождения, то есть пятого июля.

И сначала был апельсин.

6

До того лета я считалась маленькой, и в город по рыночным дням меня не брали. Мать уезжала в Анже одна, и уже к девяти утра устанавливала на площади возле церкви небольшой прилавок. Иной раз с ней ездили Кассис или Рен-Клод. Для меня же было свое поручение – следить за хозяйством, но обычно весь этот свободный день я ловила у реки рыбу или гуляла в лесу вместе с Полем.

Однако в том году мать сочла, что я уже достаточно подросла и от меня «должен быть хоть какой-то толк», как она выразилась в своей обычной, грубоватой манере. «Нельзя же вечно оставаться ребенком», – прибавила она и пытливо на меня посмотрела. Глаза у нее были темно-зеленые, как старые крапивные листья. «И потом, – обронила она словно между прочим, чтобы я не отнеслась к этому как к поблажке с ее стороны, – тебе, может, и в другой день захочется съездить в Анже с братом и сестрой, в кино сходить...»

Тут я догадалась: это явно Ренетт постаралась. Больше никто не сумел бы ее убедить. Только Ренетт. Только она знала, как подольститься к матери. И наша твердокаменная мать, разговаривая с Ренетт, всегда светлела лицом, взгляд у нее теплел, словно ее заледенелое нутро слегка оттаивало.

Я буркнула в ответ что-то невнятное, а мать продолжала:

– И тебе, пожалуй, уже пора понять, что у всех в семье есть определенная ответственность. Может, хоть это удержит тебя от твоих диких выходок. Научит, что почем в этой жизни.

Изображая полное послушание, я кивнула, – примерно как Ренетт.

Только мать было не провести. Взглянув на меня, она насмешливо приподняла бровь и сказала:

– Ладно, хоть за прилавком немного поможешь.

И вот я впервые вместе с ней поехала в город на нашей двуколке, доверху нагруженной ящиками с товаром, которые она заботливо прикрыла брезентом. В одном ящике были пироги и печенье, в другом – сыры и яйца, в остальных – фрукты. Правда, лето еще только началось, так что фрукты толком и созреть не успели, зато урожай клубники был весьма неплох. Мы также пополняли свой бюджет за счет продажи повидла, сваренного из остатков прошлогодних фруктов и сахарной свеклы, и с нетерпением ожидали, когда фрукты в саду нальются соком.

В Анже по рыночным дням царила суматоха. Повозки стояли колесо к колесу, заполняя всю центральную площадь и главную улицу; меж повозками с трудом проталкивались велосипеды с плетеными корзинками на багажниках и маленькие открытые тележки, нагруженные бутылками с молоком; какая-то булочница несла на голове поднос с караваем хлеба; на прилавках громоздились горы парниковых помидоров, баклажанов, кабачков, лука, картошки. Чуть дальше виднелись прилавки, где торговали шерстью и кухонной посудой, вином и молоком, домашними консервами и ножами, а также фруктами, старыми книгами, хлебом, рыбой, цветами... Мы с матерью приехали рано и устроились удачно. В фонтане у церкви разрешалось поить лошадей, возле фонтана росли несколько тенистых деревьев. Мать велела мне заворачивать покупки и вручать их покупателю, пока сама с ним рассчитывалась. Она обладала феноменальной памятью и считала с невероятной быстротой. Ей ничего не стоило сложить в уме целый столбец цифр, подсчитывая общую стоимость покупок, ей даже не нужно было эти цифры записывать. И она всегда очень точно, не колеблясь, выдавала сдачу. Вырученные деньги она совала в карманы фартука, банкноты в один карман, мелочь в другой. Затем выручка аккуратно убиралась в старую коробку из-под печенья, спрятанную под брезентом. Я до сих пор помню эту металлическую коробку, розовую, с розочками по краю. Помню, как мать прятала туда монеты и банкноты; банкам она не доверяла и эту розовую коробку со всеми нашими сбережениями хранила в подполе, рядом с наиболее ценными винными бутылками.

В ту самую первую мою поездку на рынок мы буквально в течение часа успели распродать все привезенные яйца и сыры. Покупатели торопились, подгоняемые присутствием солдат, стоявших на перекрестке с ружьями наперевес; их лица выражали скуку и равнодушие. Мать заметила, что я пялюсь на этих солдат в сером, и больно меня шлепнула:

– Прекрати, дурочка, глаза таращить!

Даже когда они проходили совсем рядом, пробираясь сквозь толпу, мать заставляла меня не обращать на них внимания и не убирала ладонь с моего плеча. И вдруг ее рука задрожала, хоть лицо и осталось по-прежнему бесстрастным. Один из немцев остановился возле нашего прилавка. Он был коренастый, лицо круглое, красное – в другой жизни он вполне мог бы оказаться мясником или виноторговцем. Весело блеснув голубыми глазами, он воскликнул:

– Ach, was für schöne Erdbeeren!³⁰ – Судя по голосу, он уже успел хорошенько угоститься пивом, точно самый обычный горожанин в выходной день. Он аккуратно взял клубничину своими толстыми пальцами и кинул в рот. – Schmeckt gut, ja?³¹ – Он засмеялся, но совсем не зло и даже щеки надул от удовольствия. – Wu-n-der-schön!³²

И, изображая полный восторг, он смешно выпучил глаза. Я невольно улыбнулась. Материны пальцы опять нервно стиснули мое плечо. Они были обжигающе горячи, и я быстро посмотрела на немца, пытаясь понять, чего это она так напряглась. Он выглядел ничуть не страшнее тех, что иногда заходили к нам в деревню; наоборот, мне он показался совсем не страшным в островерхой фуражке, вооруженный всего-навсего пистолетом, который висел в кобуре у него на боку. Я снова ему улыбнулась, скорее из чувства неповиновения, чем по какой-то другой причине.

– Gut, ja³³, – согласилась я и кивнула.

Немец снова рассмеялся, взял еще одну клубничину и пошел назад, на перекресток, расталкивая толпу; его черный мундир выглядел на пестром рыночном фоне как-то странно, точно на похоронах.

Потом мать попыталась мне объяснить. Сейчас всякая военная форма опасна, говорила она, но эти, в черном, хуже всех. Они не просто военные, они – армейская полиция. Их и сами немцы побаиваются. Они что угодно могут с человеком сделать. Им плевать, что мне всего девять лет. Один неверный шаг – и этот в черном мундире меня запросто пристрелит. Пристрелит, ясно мне? Мать чеканила слова с совершенно каменным лицом, но ее голос дрожал, и она все время подносила руку к виску тем же нервным, беспомощным движением, как перед началом очередного ужасного приступа. Я вполуха слушала ее предостережения. Ведь я впервые лично встретила с врагом! Когда я потом, на высоком помосте Наблюдательного поста, размышляла на эту тему, враг показался мне каким-то до странности безобидным. Это меня даже разочаровало. Я ожидала чего-то более впечатляющего.

Рынок обычно закрывался к двенадцати. Но мы все свои товары распродали гораздо раньше и задержались лишь для того, чтобы купить кое-что для себя и собрать всякие подпорченные остатки, которые нам иногда отдавали другие торговцы: перезрелые фрукты, мясные обрезки, подгнившие овощи, которые до завтра уж точно не долежат. Затем мать послала меня в бакалейную лавку, а сама отправилась покупать парашютный шелк – его кусками продавала из-под прилавка мадам Пети, хозяйка швейной мастерской. Мать старательно свернула шелк и засунула в карман фартука. Ткани, любые, достать было почти невозможно, и мы все носили старье. На мне, например, было платье, сшитое из двух старых: лиф у него был серый, а юбка

³⁰ Эх, хороша клубничка! (нем.).

³¹ До чего вкусна, верно? (нем.).

³² Чудесно! (нем.).

³³ Хорошая, да (нем.).

– синяя холщовая. Мать сказала, что этот парашют нашли прямо в поле, неподалеку от Курле, и теперь она сможет сшить Ренетт новую блузку.

– Стоило, правда, черт знает сколько, – проворчала она то ли сердито, то ли с восхищением. – Небось такие, как эта мадам Пети, и войну запросто переживут. Всегда на четыре лапы приземлятся, как кошки.

Я спросила, что значит «такие, как эта».

– Евреи, – отозвалась мать. – У них прямо талант делать деньги. Это ж надо, столько содрать за кусок шелка! А ведь ей самой он ни гроша не стоил!

Говорила она, правда, совершенно беззлобно, словно удивляясь чужому мастерству. Когда я поинтересовалась, что же тогда плохого сделали евреи, она лишь раздраженно пожала плечами. По-моему, мать и сама толком не знала ответа на мой вопрос.

– Да в общем, они делают то же самое, что и мы: стараются выжить. – Она погладила карман, в котором лежал кусок парашютного шелка, и тихо прибавила: – А все-таки неправильно это – когда хитростью да обманом.

Я пожала плечами, удивляясь про себя: господи, сколько шума из-за куска старого шелка! Но то, чего хотела Ренетт, она так или иначе обязательно получала. Например, бархотки, за которыми надо было либо стоять в очереди, либо на что-то выменивать. Для нее мать перделывала лучшие свои платья; только Рен каждый день ходила в школу в белых гольфах и модельных черных туфельках с пряжками, хотя мы, как и почти все остальные, давно перешли на грубые «деревяшки». Ну и ладно. За столько лет я привыкла к подобным несуразностям в мамином характере.

В общем, напоследок я прошлась вдоль рыночных рядов с пустой корзинкой, и люди, зная печальную историю нашей семьи, даром отдавали мне то, что не сумели продать. Вскоре у меня в корзинке уже лежала парочка дынек, несколько баклажанов, цикорий и шпинат для салата, головка брокколи, изрядная горсть помятых абрикосов. А когда я купила у булочника каравай хлеба, он бросил мне в корзинку еще и парочку круассанов и ласково взъерошил мои волосы крупной, испачканной в муке лапой. Затем я остановилась возле торговца рыбой, мы немного с ним поболтали, обменялась всякими рыбацкими историями, и он подарил мне несколько очень неплохих кусков, завернув их в газету. Под конец я подобралась к прилавку, где торговали овощами и фруктами; его хозяин как раз наклонился, передвигая ящик со сладким синим луком, и я, очень стараясь, чтобы глаза меня не выдали, стала высматривать апельсины.

И почти сразу увидела их – поднос с ними стоял на земле, рядом с прилавком, возле ящика с салатным цикорием. Апельсины тогда были редкостью, и каждый плод торговец бережно завернул в темно-красную бумажку, а поднос с ними спрятал в тень, подальше от солнечных лучей. Я даже и не надеялась, что в первый свой визит в Анже увижу хоть один апельсин, однако они были прямо передо мной, пять гладких и таинственных плодов в бумажных скорлупках, словно ждущие, когда их переложат в пакет и отдадут покупателю. И мне вдруг нестерпимо захотелось заполучить один апельсин; он был мне настолько необходим, что я и думать больше ни о чем не могла. Вот прекрасная возможность, решила я, и матери рядом нет.

Один из плодов, скатившийся на самый край подноса, почти касался моих ног. Торговец по-прежнему стоял ко мне спиной, а его помощник, мальчишка тех же лет, что Кассис, был занят – носил ящики и укладывал их в кузов маленького грузовичка. Вообще-то машин в городе, если не считать автобусов, почти не было. Раз у этого торговца есть свой автомобиль, значит, он человек вполне обеспеченный, прикинула я. И это тоже в значительной степени оправдывало мои намерения.

Делая вид, что меня безумно интересуют мешки с картошкой, я осторожно скинула с ноги «деревяшку», воровато вытянула босую ногу и пальцами, которые за столько лет лазанья по деревьям и крутым склонам стали очень ловкими и натренированными, подцепила апельсин

и вытолкнула его из подноса. Он, как я и предполагала, откатился в сторону и почти исчез под зеленой скатеркой, накрывавшей соседний прилавок.

Я тут же опустила корзину на землю, наклонилась, якобы вытряхивая камешек из своей «деревяшки», и заметила, глядя меж ног, что торговец уже поднимает в свой грузовичок последние ящики с товаром. На меня он по-прежнему не обращал внимания, от его взора укрылось, как ловко я переправила в корзинку украденный апельсин.

Господи, до чего все оказалось легко! Сердце бешено стучало в груди, щеки пылали, и я испугалась, что кто-нибудь меня разоблачит. Апельсин лежал в корзине, точно граната с выдернутой чекой. Я осторожно выпрямилась как ни в чем не бывало, сделала несколько шагов в сторону материной двуколки...

И замерла на месте: только в эту минуту я обнаружила, что у фонтана по ту сторону рыночной площади стоит немец и внимательно наблюдает за моими преступными действиями. Он небрежно, слегка ссутулившись, привалился к бортику и курил сигарету, прикрывая ее сложенной лодочкой ладонью. Рыночный люд старательно его обтекал, он находился как бы в небольшом кругу затишья и пристально на меня смотрел. У меня не было ни малейших сомнений: он конечно же видел, как я украла апельсин; он просто не мог этого не видеть!

Несколько секунд я тоже, не мигая, смотрела на него; я была просто не в силах двинуться с места. Лицо у меня совершенно задеревенело. Слишком поздно вспомнила я рассказы Кассиса о том, какие жестокости творят немцы. Интересно, а как они поступают с ворами? – думала я. Но этот немец пока что ничего не предпринимал, просто не сводил с меня глаз. А потом вдруг взял да и подмигнул мне.

Еще мгновение я помедлила, по-прежнему пребывая в полном оцепенении, потом резко повернулась и пошла прочь, чувствуя, как горит лицо, и почти позабыв о лежащем на дне корзинки апельсине. Я не смела оглянуться, не смела снова посмотреть на немца, хотя стоял он совсем близко от нашего прилавка. Меня била дрожь, и я была уверена, что мать сразу это заметит, но она не заметила: была слишком занята. Спиной я ощущала взгляд немца и все время вспоминала, как он лукаво и насмешливо мне подмигнул – точно гвоздь засадил в лоб. Теперь я ждала удара, ждала, кажется, целую вечность, но удара так и не последовало.

Мы разобрали прилавок, сложили брезент и козлы в повозку и отправились домой. Я вынула торбу с овсом из-под носа у нашей кобылы, взяла ее под уздцы и повела между рядами, а тот немец все сверлил мне затылок насмешливым взглядом. Апельсин я перепрятала, сунула поглубже в карман фартука, предварительно завернув в кусок влажной газетной бумаги из-под тех рыбных обрезков, что принесла от торговца рыбой. Это было необходимо, иначе мать могла учуять апельсиновый запах. Руки я на всякий случай не вынимала из карманов, чтобы она не обратила внимания на мой оттопыренный карман. И до самого дома я ехала молча.

7

Я никому не рассказала про украденный апельсин, кроме Поля. Я и ему не собиралась говорить, да он совершенно неожиданно залез на Наблюдательный пост как раз в тот момент, когда я любовалась апельсином, буквально пожирала его глазами, вот и не заметила появления Поля. Он таких фруктов никогда прежде не видел и сперва решил, что это просто золотистый мячик. А потом долго рассматривал апельсин, чуть ли не с благоговением сжимая его в сложенных ладонях, словно боялся, что тот расправит волшебные крылышки и улетит.

Мы разрезали фрукт пополам, подстелив два широких листка, чтобы не пропало ни капельки сока. Апельсин был отличный, тонкокожий, сладкий, с легким кисловато-терпким привкусом. Помню, как старательно мы высасывали из шкурки каждую капельку сока, как потом дочиста выскребли шкурку изнутри зубами и долго еще жевали ее и сосали, пока во рту не стало совсем горько. Измочаленную шкурку Поль хотел бросить вниз, но я вовремя его остановила.

– Давай сюда, – велела я.

– Это еще зачем?

– Нужно.

Когда он наконец ушел, я осуществила последнюю часть плана. Перочинным ножом я разрезала обе половинки апельсиновой шкурки на множество мелких кусочков; ноздри тут же наполнил аромат эфирных масел, горький и возбуждающий. Те два листка, которые мы использовали как салфетки, я тоже порвала на кусочки; запах от них исходил куда более слабый, но они должны были поддержать во влажном состоянии главное оружие – апельсиновую кожуру. Все это я старательно увязала в муслиновый лоскуток, украденный из материной кладовки с вареньем, и сунула узелок вместе с его пахучим содержимым в жестянку из-под табака, а жестянку – в карман.

Теперь все было готово.

Ей-богу, из меня вышел бы отличный убийца – так тщательно я спланировала это преступление! В течение нескольких минут я ликвидировала все наиболее опасные улики: хорошенько выкупалась в Луаре, чтобы уничтожить следы апельсинового запаха на лице и на теле; потом долго терла жестким речным песком ладони, и они теперь прямо-таки сверкали чистой, приобретя ярко-розовый, несколько воспаленный оттенок; в довершение всего я острой палочкой старательно вычистила грязь из-под ногтей и уже на пути домой сорвала несколько пучков дикой мяты и натерла ею подмышки, руки, колени и шею. Сильный аромат этой полевой травы, разогретой солнцем, способен перебить любой приставший запах. В общем, когда я явилась домой, мать ничего не заметила. Она готовила на кухне рагу из подаренных нам на рынке кусков рыбы, по всему дому уже разносился аппетитный аромат розмарина, чеснока и жарящихся в масле помидоров.

Вот и прекрасно. Я осторожно коснулась лежавшей в кармане жестянки из-под табака. Да, все просто прекрасно!

Я бы, конечно, предпочла действовать в четверг. В этот день Кассиса и Ренетт обычно отпускали в Анже, выдав им деньги на карманные расходы. Меня же мать считала слишком маленькой для того, чтобы иметь собственные карманные деньги. Да и как их было тратить в деревне? Допустим, я бы нашла на что потратиться, однако мать имела иное мнение.

Но пока я отнюдь не была уверена, что мой план сработает, и решила сначала просто попробовать.

Жестянку из-под табака я спрятала – открыв, разумеется, крышку – под трубой отопления, ведущей из гостиной в кухню. В доме, конечно, не топили, но эта труба, соединенная с горячей кухонной плитой, была достаточно теплой для воплощения моего замысла в жизнь.

И действительно, уже через несколько минут от муслинового узелка стал исходить довольно сильный запах апельсина.

Мы сели обедать.

Рагу было вкусное: соус с синим луком, помидорами, чесноком, душистыми травами и чашкой белого вина и нежнейшие кусочки рыбы, которые тушились в этом соусе на медленном огне вместе с жареной картошкой и целенькими луковичками шалота. Свежее мясо мы тогда ели очень редко, зато овощей хватало – мы выращивали их сами; кроме того, мать припрятала в подвале под досками пола три дюжины бутылок оливкового масла и самые лучшие бутылки вина. Ела я жадно. И вскоре услышала:

– Буаз, убери локти со стола!

Материн голос звучал резко, но я успела заметить, как ее пальцы знакомым жестом прикоснулись к виску. Я еле сдержала улыбку: кажется, получилось!

Мать, кстати, сидела ближе всех к трубе отопления.

За столом царило молчание. Еще пару раз мать украдкой прикоснулась к вискам, потом провела пальцами по щеке, по векам, словно проверяя упругость кожи. Кассис и Рен уткнулись носами в тарелки. Воздух казался тяжелым от свинцового полуденного жара, и у меня вдруг – видимо, из солидарности с матерью – тоже немного разболелась голова.

И тут она рявкнула:

– Кто принес в дом апельсины? Я же чувствую их запах! Ну кто? – В ее пронзительном голосе отчетливо звучало обвинение в смертном грехе. – Ну же? Говорите!

Мы дружно помотали головами.

И снова этот жест. Теперь уже ее пальцы задержались на виске, нежно его массируя, словно нащупывая болевую точку.

– Здесь совершенно точно пахнет апельсинами! Вы правда не приносили их в дом?

Кассис и Рен сидели довольно далеко от жестянки с апельсиновыми корками; к тому же между ними и матерью стоял горшок с рагу, источая дивные ароматы винного соуса, рыбы и разогретого масла. И потом, мы все слишком привыкли к ее ужасным приступам, а потому мои брат и сестра наверняка решили, что этот апельсиновый запах, о котором она так упорно твердит, ей просто мерещится. На этот раз я не сумела сдержать улыбку и прикрылась рукой.

– Буаз, передай, пожалуйста, хлеб.

Я протянула матери круглую плетенку с хлебом; она взяла кусок, но есть его не стала, лишь задумчиво теребила, вжимая пальцы в мякоть и рассыпая крошки по красной клеенке. Если бы я, например, вздумала так обращаться с хлебом, она бы наверняка резко меня одернула.

– Буаз, принеси, пожалуйста, десерт.

С трудом скрывая облегчение, я вылезла из-за стола. От страха и возбуждения меня слегка подташнивало. На кухне я радостно улыбнулась собственному отражению, глядясь в начищенные до блеска медные сковороды. На десерт было блюдо с фруктами и тарелочка с печеньем; печенюшки были, конечно, ломаные, целые мать продавала, оставляя дома только некрасивые или поврежденные. Я обратила внимание, как подозрительно она изучает привезенные с рынка абрикосы, переворачивает их один за другим и даже нюхает, словно один из них может и впрямь оказаться апельсином в абрикосовом обличье. Теперь она уже почти не убирала руку от виска и глаза прикрывала ладонью, точно от слепящего солнца. Потом взяла половинку печенья, но есть не стала, а раскрошила и крошки рассыпала по тарелке.

– Рен, убери посуду. А я, пожалуй, пойду прилягу. Кажется, снова приступ начинается. – Голос матери звучал как обычно, ее плохое самочувствие выдавал только знакомый жест: быстрые повторяющиеся прикосновения пальцев к виску, щекам, глазам. – Рен, не забудь задернуть шторы. И ставни закрой. А ты, Буаз, вытри посуду и обязательно расставь тарелки как надо.

Даже в таком состоянии она стремилась сохранить раз и навсегда заведенный порядок: блюда и тарелки надлежало тщательно вымыть губкой, вытереть чистым крахмальным полотенцем и расставить непременно по размеру и по цвету. Ничего оставлять на кухонном столе ни в коем случае не разрешалось – это придавало кухне неряшливый вид. Затем посудные полотенца стройными рядами вывешивались на просушку.

– И чтоб хорошие тарелки только горячей водой мыть, слышали? – Голос ее звучал уже болезненно ломко, но она все еще беспокоилась о своих драгоценных тарелках. – И непременно вытрите их с обеих сторон. И не убирайте, пока полностью не высохнут. Буаз, ты слышишь меня?

Я кивнула. Мать поморщилась и отвернулась. Ее глаза блестели, словно от жара.

– Рен, проследи, чтобы она все сделала как полагается. – Мать смотрела на часы, странно покачивая головой. – И двери обязательно закройте. И ставни тоже.

По-моему, ей больше всего хотелось уйти к себе, но она все еще не решалась оставить нас без присмотра, на свободе, со своими тайными делами. Она встала и, повернувшись ко мне, произнесла резким и надменным тоном, скрывая невнятное беспокойство:

– Ты, Буаз, главное, не забудь как следует убрать тарелки. Вот и все.

Наконец она ушла. Было слышно, как в ванной льется вода в раковину. Я опустила в гостиную специальные шторы затемнения и задернула занавески; затем, быстро нагнувшись, вытащила из-под трубы жестянку с апельсиновыми шкурками и, выйдя в коридор, громко, чтобы мать меня услышала, крикнула:

– Я разберу тебе постель, мам!

Оказавшись у нее в комнате, я сначала закрыла ставни, опустила темные шторы, сняла с постели покрывало и аккуратно его сложила. Затем быстро огляделась. В ванной все еще слышался плеск воды – мать, видимо, чистила зубы. Я быстро и бесшумно извлекла из полосатой наволочки подушку, кончиком перочинного ножа чуточку подпорол шов и сунула внутрь муслиновый узелок с корками, стараясь рукояткой ножа протолкнуть его как можно глубже, чтобы мать не почувствовала непонятный твердый комок. Сердце молотом стучало в груди. Затем я снова натянула наволочку и тщательно разгладила самые мелкие морщинки. Мать всегда замечала подобные вещи.

Успела я как раз вовремя. С матерью я встретилась уже в коридоре; она хоть и посмотрела на меня подозрительно, но промолчала. Вид у нее уже был отсутствующий, взгляд безумный, веки словно припухли, темные с проседью волосы распущены по плечам. От нее исходил сильный запах туалетного мыла. В полутьме коридора она напомнила мне леди Макбет – историю о леди Макбет я недавно прочла в одной из книжек Кассиса; и руки у матери постоянно двигались, терли друг друга, касались висков, гладили лицо, снова баюкали и терли друг друга – казалось, она пытается стереть с себя не только ненавистный запах апельсина, а некое несмываемое кровавое пятно.

Меня вдруг охватили сомнения: мать выглядела какой-то ужасно старой и усталой. Боль так и стучала у меня в висках; душу снедало нестерпимое желание подойти к ней, прижаться головой к ее плечу. Интересно, как она отреагирует? На секунду глаза мне ожгло слезами. Господи, зачем я это делаю? И тут я вспомнила о Старой щуке, там, на темном дне поджидающей очередную жертву; я представила себе ее жуткие глаза, исполненные безумной злобы, и тот таинственный «приз», что скрывался у нее внутри...

– Ну? – Голос матери звучал хрипло; слова падали, как холодные камни. – На что ты выпулилась, идиотка?

– Ни на что. – Слезы на глазах моментально высохли, даже голова болеть перестала. И я чуть громче повторила: – Ни на что.

Когда в двери ее спальни щелкнул замок, я, не оборачиваясь, направилась напрямик в гостиную, где меня уже ждали Кассис и Рен. Я спокойно встретила их вопросительные взгляды, торжествуя про себя улыбаясь.

8

– Ты спятила! – выпалила Ренетт.

Это ее обычное беспомощное восклицание, когда иных аргументов нет. Впрочем, свой запас аргументов она всегда исчерпывала очень быстро; хорошо она разбиралась только в губной помаде и сплетнях про кинозвезд.

– А что такого? Сегодняшний день не хуже любого другого, – ничуть не смутившись, заявила я. – Теперь она до полудня проспит. Можно быстренько переделать все дела по дому и ехать куда угодно.

Я в упор посмотрела на сестру. Мы с ней были по-прежнему связаны тайной губной помады, найденной мною две недели назад, и я глазами напомнила ей, что ничего не забыла. Кассис с любопытством на нас поглядывал, но я была уверена: Рен ничего ему не рассказала.

– Она придет в ярость, если узнает, – медленно произнес он.

– А откуда она узнает-то? – пожала я плечами. – Можно соврать, что мы ходили в лес за грибами. Да она вообще вряд ли с постели поднимется до того, как мы вернемся.

Кассис молчал, явно взвешивая все «за» и «против». Рен бросила на него взгляд, одновременно и умоляющий, и тревожный, и очень тихо промолвила:

– Поехали, Кассис. – И прибавила почти шепотом: – Ей все известно. Она все у меня выведала о... – Рен помедлила, потом с несчастным видом закончила: – В общем, мне пришлось кое-что ей рассказать.

– Ага...

Брат одарил меня взглядом, в котором я заметила нечто новое, сродни, пожалуй, даже восхищению. Он с деланным равнодушием пожал плечами – да какая разница, в конце концов? – но глаза остались настороженными и внимательными.

– Я не виновата, это она... – пролепетала Ренетт.

– Ясное дело. Она у нас девочка сообразительная. Ты ведь у нас сообразительная, верно, Буаз? – обронил Кассис почти весело. – Да ладно, она бы все равно рано или поздно пронюхала.

Это была наивысшая похвала, и еще несколько месяцев назад я бы себя не помнила от гордости, но теперь просто посмотрела на него в упор и промолчала.

– И потом, – продолжал Кассис тем же легким тоном, – если она тоже будет во все замешана, то, по крайней мере, не наябедничает матери.

Мне все-таки недавно только девять исполнилось, и я, хоть и была развита не по годам, совершенно по-детски обиделась. Меня больно ужалило то презрение, что прозвучало в небрежных словах брата.

– Я не ябеда!

Кассис пожал плечами.

– Да ладно, можешь ехать с нами. Но учти: платить за себя будешь сама. – Теперь он заговорил уже своим обычным тоном: – С какой стати нам за тебя платить?

Я, так и быть, доведу тебя на багажнике, но на большее не рассчитывай. Там уж сама как хочешь выкручивайся. Идет?

Это было очередное испытание. Я видела вызов в глазах брата. И улыбался он насмешливо, совсем не той добродушной улыбкой, с какой иногда отдавал мне последний кусочек шоколада, а иногда мог так прижечь мне руку ядовитым тунговым маслом, что кровь запекалась под кожей темными пятнами.

– Да ведь у нее и денег-то нет, – заныла Ренетт. – Ну какой смысл брать ее...

Брат только плечами передернул – таким типично мужским жестом, прекращающим всякие споры: я сказал, и все. Его интересовало, что я отвечу, и он спокойно ждал, скрестив на груди руки и чуть презрительно улыбаясь.

- Отлично, – кивнула я, стараясь, чтоб не дрогнул голос. – Согласна. Значит, едем завтра?
- Ну, раз так, – отозвался Кассис, – завтра и поедем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1.

Стэн Лаурел (Лорел) – псевдоним Артура Стэнли Джефферсона (1890–1965), англичанина, в начале 1910-х переехавшего в США с труппой Ф. Карно. Оливер Харди (1892–1957) родился в Америке. Лаурел и Харди составляли комическую пару «толстый и тонкий»: толстый и вечно попадающий впросак Харди и маленький тощий Лаурел, которому все удастся.